



Ефим Гранитов

Одна секунда выдержки

18+

Ефим Гранитов

Одна секунда выдержки

«Автор»

2026

Гранитов Е.

Одна секунда выдержки / Е. Гранитов — «Автор», 2026

Ржевская мясорубка 1942 года увидена глазами фронтового фотокорреспондента: грязь, вода по колено в окопах, проявка плёнки в землянке и редактор, которому к юбилейному номеру нужен «атакующий кадр». А в 1965 году — коммунальные кухни, редакции, электрички и люди, которые двадцать лет не говорят главного. Здесь нет разоблачений и нет злодеев. Есть один снимок и три человека, для которых он стал всем: тот, кто его сделал, та, кто ищет правду, и мать, которая знала её с самого начала.

© Гранитов Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Плакат	5
Глава 1. Звонок	10
Глава 2. Ржев	17
Глава 3. Контрольки	25
Глава 4. Взвод	33
Глава 5. Интервью	42
Глава 6. Секунда	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Ефим Гранитов

Одна секунда выдержки

Пролог. Плакат

Москва, март 1965

В субботу перед Восьмым марта метро пахло мокрыми пальто, мимозой и тем особенным мартовским железом, которое появляется только в эти две-три недели, когда снег на улицах уже не белый, а ещё не ушёл, и его разносят по вагонам на калошах, на валенках, на детских ботах с застёжками. На резиновом полу между сиденьями стояла тёмная вода, и в ней отражались лампы — смазанные, длинные, как огни на ночной съёмке, если забыть закрыть затвор.

Лев Аронов сидел у дверей, держал на коленях шапку и смотрел на эту воду. Миша стоял рядом, держась за поручень, и что-то рассказывал про сопромат, про какого-то доцента, который принимает зачёт только у тех, кто приходит в галстук. Лев слушал вполуха и кивал в нужных местах. Он умел кивать в нужных местах; этому учатся на редакционных летучках и потом никогда не разучиваются.

Напротив сидела женщина с веточкой мимозы, завернутой в газету. Газета была «Вечёрка», мимоза — уже чуть подвявшая, купленная, наверное, у метро с рук, втридорога, и женщина держала её осторожно, как держат ребёнка, который наконец уснул. Рядом с ней дремал военный — подполковник, немолодой, с тремя рядами планок на кителе под расстёгнутой шинелью. Голова его покачивалась в такт вагону, и каждый раз, когда поезд тормозил, он открывал глаза, проверял, что всё на месте, и снова закрывал.

Лев поймал себя на том, что уже скомпоновал этот кадр. Женщина слева, жёлтое пятно мимозы — на плёнке оно выйдет серым, светлее всего остального, — подполковник справа, и между ними, в чёрном стекле окна, их отражения, чуть сдвинутые, как двойная экспозиция. Света не хватает. Выдержка — секунда, не меньше, а на секунде в вагоне всё смажется, кроме, может быть, подполковника, который сидит неподвижно. Женщина не станет держать мимозу неподвижно секунду. Никто не станет держать неподвижно секунду, если его не попросить.

Он отвёл глаза и стал смотреть на свои ботинки.

— Пап, ты меня слушаешь?

— Ты говорил про галстук.

— Это было две станции назад.

— Значит, я слушал две станции назад, — сказал Лев. — А потом задумался о галстуках вообще. У тебя есть галстук?

— Есть. Твой.

— Ну вот. Значит, зачёт у тебя в кармане.

Миша засмеялся. Смеялся он, как Ада, — сначала глазами, потом уже ртом, будто смех ему надо было сперва одобрить. Ему было двадцать, он учился на третьем курсе энергетического, носил свитер с оленями, который связала ему бабушка Адиной стороны, и ходил с отцом по магазинам раз в году, в эту субботу, потому что так повелось с тех пор, как ему исполнилось семь. Тогда они впервые пошли вдвоём покупать маме подарок, и Миша выбрал брошку в виде стрекозы, страшную, из зелёного стекла, и Ада носила её два года, не снимая, пока стрекоза не потеряла крыло.

На «Октябрьской» они вышли. Переход на кольцевую был набит людьми; все шли в одну сторону и с одним выражением лица — сосредоточенным и немного виноватым, какое бывает у мужчин накануне Восьмого марта. Лев шёл в этом потоке, держа Мишу чуть впереди себя, как в детстве, хотя Миша давно был выше его на полголовы.

Плакат он увидел раньше, чем понял, что видит.

Так бывает с хорошо знакомым: глаз узнаёт форму — тёмный треугольник поднятой руки, светлый косой срез неба, — и только потом, через долю секунды, до головы доходит, что это такое. Плакат висел на стене перехода, свежий, ещё глянцевый, не успевший пожелтеть и обтрепаться по углам. Его, наверное, повесили на этой неделе: к двадцатилетию Победы по всей Москве развешивали старые плакаты, перепечатанные заново. Лев видел их уже несколько раз — у Белорусского вокзала, на Пушкинской, на заборе у стройки возле дома. Он привык. Он двадцать два года привыкал.

Саша Костин стоял над бруствером, по пояс, против неба. Правая рука держала винтовку, левая была поднята и обращена назад — к тем, кто ещё в окопе, кто сейчас поднимется вслед за ним. Рот был открыт. Под ногами у него, в самом низу листа, было набрано крупными красными буквами: «ВПЕРЁД, ЗА РОДИНУ!» Буквы были новые, другого шрифта, чем в сорок третьем, — тоньше, с засечками; Лев отметил это машинально, как отмечал всё. Ретушь тоже была другая: художник плаката зачем-то убрал пятно на гимнастёрке, у левого кармана, — то ли грязь, то ли тень от ремня, — и от этого Саша выглядел чище, чем был. Чище, чем кто-либо был в то лето подо Ржевом.

Лев прошёл мимо, не поворачивая головы. Он научился этому давно: смотреть чуть в сторону, на соседнюю стену, на кафельную плитку, на затылок идущего впереди. Это было нетрудно. Это было не труднее, чем не смотреть на солнце.

Миша остановился.

Лев сделал ещё два шага, прежде чем заметил, что сына рядом нет. Он обернулся. Миша стоял у стены, задрал голову, и люди обтекали его с двух сторон, как вода обтекает камень, и кто-то недовольно буркнул: «Нашёл где встать», — и Миша сказал «извините», не глядя, и продолжал смотреть.

Лев вернулся.

— Пойдём, — сказал он. — В ГУМе к обеду ничего не останется.

— Пап. — Миша не отрывал глаз от плаката. — А это правда ты снял?

Он спросил это не так, как спрашивают о чём-то важном. Он спросил легко, с любопытством, с каким, наверное, спрашивал бы, правда ли отец когда-то видел живого Чкалова. Миша знал, что отец был на войне фотокорреспондентом; знал, как знают про родителей многое — смутно, понаслышке, из случайных обмолвок за столом. Знал, что был такой плакат и что отец как-то к нему причастен. Знал, наверное, от Ады — Лев сам никогда ему об этом не говорил. Дома плаката не было. Дома вообще не было ни одной военной фотографии, кроме Адиной, где она в белом халате у полевого госпиталя под Серпуховом, — и ту она повесила сама, в спальне, над своей половиной кровати.

— Я, — сказал Лев. — Пошли.

— Подожди. — Миша шагнул ближе к стене и наклонился. В правом нижнем углу, под красными буквами, мелким шрифтом было набрано то, что никто никогда не читал: название издательства, тираж, номер заказа и — отдельной строкой — «Фото Л. Аронова». — Смотри, правда. «Л. Аронова». Я думал, мама путает.

— Мама никогда ничего не путает. Это её главный недостаток.

— А как это было?

Лев посмотрел на часы. Было без двадцати двенадцать.

— Было рано утром, — сказал он. — Было мокро. Было очень много комаров. Я тебе как-нибудь расскажу про комаров подо Ржевом, это отдельная эпопея, Гомер отдыхает. Пойдём, а то маме достанется одеколон «Шипр» и открытка с мимозой, и она сделает вид, что рада, а мы с тобой будем знать.

Миша наконец оторвался от стены. Он ещё раз оглянулся на плакат, и на его лице было что-то, чего Лев не хотел видеть: что-то вроде гордости, неуверенной, мальчишеской, как будто он только что узнал про отца хорошее и не знал ещё, можно ли ему этим хвастаться.

— Он погиб, да? Солдат этот?

— Да.

— Сразу?

— Через минуту, — сказал Лев. — Так было написано в газете. Пошли.

Они пошли. Позади, на стене перехода, Саша Костин звал в атаку людей, которые спешили купить жёнам духи.

* * *

В ГУМе, как и следовало ожидать, было не протолкнуться. Под стеклянной крышей стоял гул, как в цеху, и свет падал сверху, рассеянный, ровный, почти без теней — хороший свет, мягкий, на таком свете хорошо снимать лица, все морщины уходят. Лев подумал об этом и тут же подумал, что с некоторых пор думает о свете только по работе: какой свет нужен, чтобы заливное выглядело аппетитно, а не как мутный студень в морге. Мутный студень в морге он, кстати, тоже однажды снимал, в сорок четвёртом, в Белоруссии, — для акта комиссии, — и тоже думал о свете.

Он отогнал эту мысль, как отгоняют муху: не глядя, привычным движением.

В парфюмерный отдел стояла очередь, загибаясь буквой «г» вокруг колонны. Миша пристроился в хвост и тут же завёл разговор с девушкой впереди — студенткой, судя по портфелю, — о том, что лучше: «Красная Москва» или «Белая сирень». Девушка считала, что «Красная Москва» — это для тещ. Миша соглашался и одновременно спорил. Лев стоял рядом и думал, что сын у него вырос лёгким человеком. Это было хорошо. Это было, может быть, самое лучшее, что с ними со всеми случилось.

— Пап, а маме сколько лет будет? — спросил Миша через плечо.

— Пятьдесят. Летом.

— Тогда «Красная Москва», — сказала девушка уверенно и отвернулась.

Миша развёл руками.

Лев отошёл к колонне и прислонился к ней спиной. Колонна была холодная. Над головой, на галерее второго этажа, кто-то из продавщиц развешивал по перилам кумачовую ленту — готовились к праздникам, не к Восьмому марта даже, а дальше, к маю, к большой дате, о которой писали уже второй месяц во всех газетах. «Двадцать лет Великой Победы». Говорили, что Девятое мая в этом году снова сделают выходным, впервые с сорок седьмого; говорили уверенно, как говорят о том, что уже решено наверху и только ждёт бумаги. В издательстве по этому поводу собирались выпустить «Праздничный стол» с новыми цветными вклейками, и Лев уже три дня снимал пироги с вишней, украшенные звёздочками из теста. Звёздочки всё время подгорали по краям. Пришлось снимать с другого ракурса, чтобы горелого не было видно.

Он вдруг понял, что последние полчаса всё время чувствует спиной стену перехода на «Октябрьской» — как чувствуют чужой взгляд в затылок. Как чувствовали подо Ржевом, когда поднимали голову над бруствером, тот холодок под левой лопаткой, который ни у кого не было сил объяснить и который почти никогда не обманывал.

Он сунул руку в карман пальто, нашарил папиросы и вспомнил, что в ГУМе курить нельзя.

* * *

Духи они купили. «Красную Москву», потому что «Белая сирень» кончилась на девушке-студентке, которая, по Мишиным словам, всё-таки передумала насчёт тещ. Коробка была красная, с золотым кремлёвским силуэтом, тяжёлая для своего размера; Миша нёс её за пазухой, чтобы не помять. Обратно ехали по другой линии, с пересадкой на «Площади Свердлова», и Лев с облегчением понял, что так они мимо плаката не пройдут.

Плакат оказался и на «Площади Свердлова».

Не в переходе — на перроне, в рамке под стеклом, на месте, где раньше висела реклама Госстраха. Тот же Саша, та же рука, те же новые красные буквы. Миша увидел его первым, толкнул отца локтем и показал подбородком, весело: «Смотри, опять ты». Лев сказал: «Не я, а он», — и тут подошёл поезд, и они вошли, и Лев сел так, чтобы видеть только тёмное окно.

В окне был он сам. Пятьдесят три года, седина, которая началась ещё в сорок третьем и с тех пор только продолжалась, мягкое лицо московского интеллигента, которого никто не принял бы за бывшего фронтовика, — очки он носил с пятьдесят пятого, и они сделали его окончательно мирным. Хорошее лицо для натюрморта, подумал он. Неподвижное.

— Пап, — сказал Миша, садясь рядом. — А почему ты никогда про это не рассказывал?

— Про что?

— Про плакат. Это же... ну. — Он подыскивал слово. — Это же знаменитый снимок. Его все знают. У нас в школе он в актовом зале висел. Я на него десять лет смотрел и не знал, что это ты.

— Это не я. Это рядовой Костин.

— Ну ты понял.

— Понял, — сказал Лев. Он помолчал. Поезд вошёл в тоннель, и в окне стало совсем черно, и его отражение сделалось резким, как на хорошем негативе. — Знаешь, что такое выдержка?

— Ну, это... время, на которое открывается затвор.

— Молодец. А знаешь, сколько была выдержка на этом снимке?

— Нет.

— Одна шестидесятая секунды, — сказал Лев. — Вот столько я там и был. Одну шестидесятую секунды. А рассказывать про одну шестидесятую секунды — это, знаешь ли, как писать роман про то, как чихнул. Лев Толстой бы смог. Я — нет.

Миша посмотрел на него внимательно. У него были Адины глаза — серые, спокойные, слишком внимательные. Ада так смотрела на больных, когда те говорили, что у них ничего не болит.

— Ладно, — сказал Миша. — Потом расскажешь.

— Потом, — согласился Лев.

* * *

Дома Ада жарила картошку. Запах встретил их ещё на лестнице, на третьем этаже, — запах жареного лука, постного масла и чего-то пригоревшего, потому что Ада всегда жарила на большом огне и всегда в последний момент отвлекалась. Миша спрятал коробку с духами в шкаф, за свои учебники, и пошёл на кухню, громко сообщая, что они ничего не купили, совершенно ничего, потому что всё раскупили, и что маме придётся довольствоваться их любовью. Ада сказала: «Опять „Красная Москва“?» — и Миша застонал, и Ада засмеялась.

Лев снял пальто, повесил шапку на крючок, постоял в прихожей. Прихожая была крохотная, метр на полтора, как во всех черёмушкинских квартирах: вешалка, зеркало, ящик для обуви. Над вешалкой, под самым потолком, была антресоль. Там лежали старые вещи, которые жалко выбросить и незачем доставать: Мишины детские лыжи, Адины конспекты по терапии, связка писем, фибровый чемодан с металлическими уголками. В чемодане, под фронтовой

гимнастёркой, которую Ада когда-то постирала, погладила и убрала туда «на память», лежал жёлтый кожаный футляр.

Лев не смотрел на антресоль. Он смотрел в зеркало, поправляя воротник, хотя воротник был в порядке.

Он прошёл в комнату и нажал выключатель. Выключатель был тугой, новый — Миша поменял его зимой, старый искрил, — и щёлкал сухо и коротко, с маленькой задержкой, как хороший затвор на длинной выдержке. Лев постоял, держа на нём палец.

Свет зажёгся. В комнате было всё как всегда: диван, Мишин письменный стол с лампой, телевизор «Рекорд» на тонких ножках, накрытый салфеткой, книжный шкаф, в котором за стеклом стояли собрания сочинений — Чехов, Куприн, Паустовский, — и, на нижней полке, справочники по кулинарии, которые выпустило его издательство с его фотографиями. Пирог. Студни. Пасхальные куличи, переименованные в «весенние кексы». Ни одного лица.

На кухне Ада спросила что-то, и Миша ответил, и Лев услышал своё имя, а потом слово «плакат». Он не расслышал, что сказал сын. Ада помолчала — он знал это её молчание, короткое, как вдох, — а потом сказала обычным голосом:

— Лёва, иди есть. Картошка стынет.

— Иду, — сказал он.

И пошёл.

Глава 1. Звонок

Москва, март 1965

Заливная рыба не желала быть праздничной.

Она лежала на овальном блюде с синей каймой — судак, разделанный Фаиной Григорьевной ещё в девять утра, — и сквозь желе, которое застыло не совсем ровно, проступали кружки моркови, лимонные дольки, веточки петрушки и бледные, как утопленники, листики лаврушки. Лаврушку Лев велел убрать ещё час назад. Фаина Григорьевна убрала, но один листок вмёрз в желе намертво, и теперь он лежал там, у самого хвоста, тёмный, как трещина, и портил всю композицию.

— Его можно закрыть лимоном, — сказала Фаина Григорьевна, стоя у Льва за плечом и дыша ему в шею луком. — Дольку сверху положить, никто не заметит.

— Читатель заметит, — сказал Лев, не отрываясь от видеоискателя. — Читатель, Фаина Григорьевна, — существо подозрительное. Он увидит дольку не на месте и подумает: а что это они там прячут? И перестанет нам доверять. И не купит книгу. И не сделает заливную рыбу на праздник. И его семья будет есть селёдку под шубой, как в прошлом году, и в позапрошлом, и так до самой пенсии. Вы хотите этого?

— Тыфу на вас, Лев Борисович.

— Тыфу — это не аргумент. Давайте повернём блюдо хвостом к окну.

Они повернули блюдо хвостом к окну. Лаврушка ушла в тень, в густую серую тень от бортика, где её съело зерно. Зато теперь свет падал на голову судака, и судак смотрел в объектив мутным варёным глазом с выражением глубокой укоризны.

Лев выпрямился. Спина ныла: стол для натюрмортов был низкий, сделанный ещё до войны для какого-то другого издательства, и чтобы снимать сверху, под углом в сорок пять градусов, надо было либо вставать на табуретку, либо сгибаться над штативом в три погибели. Табуретку унёс кто-то из художников. Лев сгибался.

Павильон «Домоводства» помещался в бывшей купеческой конюшне во дворе на Большой Полянке — длинное низкое помещение с белёными стенами, с двумя большими окнами на север и с потолком, под которым до сих пор торчали кованые крюки для упряжи. Северный свет был хорош: ровный, холодный, без бликов. Лев выбил эти окна, когда пришёл сюда в сорок восьмом, — буквально выбил: раньше они были заложены кирпичом, и ему пришлось полгода ходить по начальству, доказывая, что электрическим светом снять студень так, чтобы он выглядел съедобным, невозможно. Начальство не понимало, при чём здесь студень. Потом пришёл новый директор, который в детстве голодал и, видимо, на всю жизнь сохранил к еде уважение, и окна разложили.

С тех пор прошло семнадцать лет. Лев снял в этом павильоне, по его собственному подсчёту, около шести тысяч блюд. Он знал, как заставить блеснуть борщ (капля постного масла сверху, ни в коем случае не сливочного), как сделать, чтобы пельмени не слипались в кадре (холодная вода, кисточка), как спрятать пережаренный бок котлеты (зелень, зелень и ещё раз зелень). Он знал, что мороженое на фотографии — это почти всегда толчёная картошка с пищевой краской, потому что настоящее тает под лампами за полторы минуты. Он знал, что пар над горячим супом снимают отдельно и впечатывают потом, а пар от утюга, пущенный из-под стола, выглядит на снимке честнее настоящего.

Он был очень хорошим фотографом еды. В издательстве его уважали и немного побаивались, как побаиваются людей, которые всегда шутят и про которых никогда не понятно, о чём они на самом деле думают.

— Лев Борисович, — сказала с порога Зинаида Львовна, редактор серии, — вы опять мучаете рыбу?

— Рыба мучает меня, Зинаида Львовна. Я пассивная сторона. Я, если хотите знать, жертва.

— Жертва, нам к четвергу нужен «Столичный». И пирожки. С капустой и с яйцом. И торт «Наполеон», который вы в прошлый раз сняли так, будто это кирпичная кладка.

— Это была авторская интерпретация.

— Авторская интерпретация будет у вас в некрологе, — сказала Зинаида Львовна и ушла, хлопнув дверью.

Фаина Григорьевна засмеялась. Она смеялась всем телом, как смеются деревенские женщины, — колыхаясь, придерживая руками живот под белым халатом. Лев тоже улыбнулся. Ему нравилась Зинаида Львовна. Ему вообще все здесь нравились — и Фаина, и Зинаида, и директор, переживший голод, и даже художник Сёмушкин, который воровал табуретки. Это было тихое место. Здесь никто ни о чём не спрашивал. Здесь умели жить, не задавая друг другу лишних вопросов, — может быть, потому, что у всех было о чём не спрашивать.

Он снова наклонился к видеоискателю. Свет на голове судака стал чуть жёстче — где-то над Замоскворечьем разошлись облака, — и глаз рыбы блеснул. Это было лишнее. Лев подождал, пока облака сойдутся опять.

Ждать он умел. Он умел ждать свет часами.

* * *

Телефон в павильоне висел на стене у двери — чёрный, эбонитовый, с толстым шнуром, перемотанным изолентой в двух местах. Звонил он редко, и почти всегда это была Зинаида Львовна с очередным напоминанием о торте. Поэтому, когда он зазвонил, Лев крикнул «меня нет», не поднимая головы, а Фаина Григорьевна сняла трубку, послушала, сказала «одну минутку» и протянула трубку ему через всё помещение, натянув шнур, как бельевую верёвку.

— Вас. Девушка. Из газеты.

— Скажите девушке из газеты, что я умер.

— Она говорит — по делу.

— Все, кто звонит мертвецам, говорят, что по делу, — сказал Лев, но взял трубку. Шнур был короткий, ему пришлось встать вплотную к стене, лицом к белёной извёстке. — Аронов слушает.

— Лев Борисович? — Голос был молодой, звонкий, с той особенной быстротой, с какой говорят люди, привыкшие, что их перебивают, и потому успевающие сказать главное до того, как перебьют. — Здравствуйте. Меня зовут Марина Ильина, я корреспондент «Знамени юности». Вы извините, что я вам на работу звоню, мне дали этот телефон в Союзе журналистов, домашнего у них нет. У вас найдётся минута?

— У меня тут рыба, — сказал Лев. — Заливная. Она не будет ждать вечно.

— Я быстро. — Она не засмеялась, и это было неожиданно: обычно на рыбу смеялись. — Мы готовим к двадцатилетию Победы большую серию. Называется «Герои со снимков». Будем рассказывать про людей, которых вся страна знает в лицо, но никто не знает по имени. Ну или знает имя, но больше ничего. Солдаты с плакатов, с фронтовых фотографий, с обложек. Кто они были, что с ними стало, где их семьи. Восемь материалов, по одному в неделю, последний — в юбилейный номер, восьмого мая. И я бы очень хотела, чтобы последний был про ваш снимок.

Лев смотрел на стену. На извёстке, на уровне его глаз, кто-то когда-то нацарапал карандашом номер телефона и рядом — «Люся, после шести». Номер был пятизначный, довоенный. Люсе, наверное, было теперь под шестьдесят.

— Про какой из моих снимков? — спросил он. — У меня их много. Есть, например, кулебяка. Её тоже вся страна знает в лицо, она в «Книге о вкусной и здоровой пище» на сто сорок второй странице.

— Про «Вперёд, за Родину!», — сказала Марина Ильина. — Вы же знаете, про какой. Он знал, про какой.

— Девушка, — сказал он, — давайте я вам сэкономлю время. Про этот снимок всё написано. В сорок втором году, в армейской газете «Боевое знамя», потом в Москве, потом в каждой второй книжке про войну, которую издали за двадцать лет. Имя солдата известно, его подвиг известен, он награждён посмертно, в его деревне, насколько я знаю, есть улица Костина. Я там был одну шестидесятую секунды. Мне нечего добавить.

— Улица есть, — сказала она. — А теперь будет ещё и школа. Сосновская восьмилетняя школа имени Александра Костина. Решение облоно уже есть, переименование назначено на девятое мая. Я туда поеду. Там живёт его мама, Пелагея Ивановна, ей семьдесят лет. Я хочу написать про него — про живого. Каким он был. А для этого мне нужны люди, которые его видели живым. Вы видели.

Лев молчал.

Он не думал, что на него это так подействует. Он думал, что за двадцать лет ко всему привык: к плакату в метро, к открыткам, к тому, что раз в год, к Двадцать третьему февраля или к Девятому мая, какая-нибудь районная газета перепечатывала снимок с подписью, которую когда-то сочинил Гуревич, — слово в слово, с той же опечаткой в отчестве, которую никто так и не исправил. Он привык к письмам школьников — их пересылали ему из Союза журналистов, раз или два в год: «Дорогой товарищ фотограф, расскажите нам о подвиге героя». Он отвечал коротко и одинаково, на машинке, всегда одни и те же пять фраз. Он привык.

Но про мать ему никто никогда не говорил. Он знал, что мать есть; знал, что её зовут Пелагея; знал название деревни — из той самой подписи, из наградного листа, который в сорок втором ему дали прочитав в политотделе как свидетелю. Он знал и забывал, знал и забывал, двадцать три года. И вот теперь у матери был голос этой девушки, и этот голос сказал: семьдесят лет.

— Лев Борисович? Вы слушаете?

— Слушаю, — сказал он. — Я пытаюсь понять, как отделаться от вас наиболее вежливо.

Это была ошибка. Он понял это, как только сказал: шутка вышла не та, слишком честная. В трубке помолчали, и он почувствовал, как на том конце провода девушка выпрямилась — по-журналистски, как охотничья собака, которая услышала шорох в кустах.

— Почему? — спросила она.

— Потому что я старый, скучный, занятой человек, у которого стынет рыба.

— Рыба заливная. Она не стынет, она застывает.

На этот раз он засмеялся — коротко, против воли. Фаина Григорьевна у стола удивлённо обернулась.

— Ладно, — сказал он. — Один ноль в вашу пользу.

— Я не займу у вас больше часа. Я вам обещаю. Мне не нужно ничего особенного — просто как это было, что вы помните о нём, какой он был, что говорил. Любые мелочи. Как он курил, что ел, о чём шутил. Понимаете, все тексты про него — они одинаковые. Они все про подвиг. А про человека — ни слова. Как будто он родился на этом плакате и на нём же умер.

Она говорила быстро, горячо, и в голосе её Лев слышал то, что слышал когда-то в собственном голосе — лет тридцать назад, когда он, двадцатилетний, приходил в редакцию журнала «Физкультура и спорт» с пачкой снимков, сделанных на стадионе «Динамо», и доказывал, что спортсменов надо снимать не в момент победы, а в момент усилия, когда лицо некрасиво и честно. Тогда он думал, что правду можно снять. Что для этого нужно только встать в правильную точку и правильно выбрать момент.

— Как вас зовут, ещё раз?

— Марина. Ильина.

— Марина, — сказал он. — Сколько вам лет?

— Двадцать шесть. Это имеет значение?

— Имеет. В двадцать шесть лет люди думают, что мелочи что-то объясняют.

— А в пятьдесят?

— А в пятьдесят они знают, что мелочи — это единственное, что вообще было, а объяснять никто ничего не будет.

Она помолчала. Потом сказала — неожиданно тихо, другим голосом, будто отодвинула трубку от лица и снова поднесла:

— Тем более, Лев Борисович. Тем более.

* * *

Позже, вспоминая этот разговор, он так и не смог точно сказать, в какой момент решил согласиться. Может быть, на словах о матери. Может быть, когда она сказала «тем более». А может быть, решение пришло само собой, без его участия, как приходит иногда в темноте лаборатории правильная экспозиция — ты не считаешь, ты просто знаешь, что вот сейчас надо выключить увеличитель, и выключаешь, и потом, когда отпечаток проявляется в ванночке, оказывается, что вышло точно.

Но одну вещь он понял ясно, ещё стоя лицом к стене: если он откажется, она всё равно будет писать. Она поедет в Сосновку, она найдёт кого-нибудь ещё — из полка, из редакции, из политотдела, — она будет задавать вопросы. Она из тех, кто задаёт вопросы. И лучше, если на эти вопросы будет отвечать он. Лучше, если разговор с самого начала будет в его руках, как фотоаппарат: он выбирает точку, он выбирает свет, он решает, что попадёт в кадр, а что останется за рамкой.

Это была хорошая, разумная мысль, и он ухватился за неё, как хватаются за перила на скользкой лестнице.

— Хорошо, — сказал он. — Но на моих условиях.

— Каких?

— В среду. Здесь, в издательстве, в два часа. Большая Полянка, двор, вход через арку, спросите павильон. Ровно один час. Без фотографа: меня не надо снимать, я некрасивый. И без магнитофона.

— Я магнитофон и не возьму, у нас он один на всю редакцию, и его вечно не допросишься. — Она, кажется, улыбалась. — Блокнот можно?

— Блокнот можно. Карандаш тоже можно, если не будете грызть.

— Не буду. Спасибо вам, Лев Борисович. Правда — спасибо. Я понимаю, что вам это, наверное, тяжело.

— Ничего вы не понимаете, — сказал он мягко. — И это хорошо. До среды.

— Подождите! — Она заторопилась, как будто боялась, что он повесит трубку. — Ещё одно. Я до среды, наверное, подниму архив. Ну, чтобы не задавать вам глупых вопросов, на которые всё есть в документах. У нас в комбинате, в подвале, фотоархив большой газеты — военный, весь, они ещё с войны там хранят. Там же должен быть и ваш негатив, правда? Его же в Москву отправляли?

Лев смотрел на номер Люси на стене. Цифры были написаны химическим карандашом, и от сырости они расплылись по краям, сделались лиловыми, будто под ними проступил синяк.

— Отправляли, — сказал он. — В сорок втором. Самолётом.

— Ну вот. Я посмотрю, вдруг там есть что-то интересное. Какие-нибудь пометки, подписи. Иногда на обороте пишут такое, чего больше нигде нет.

— Иногда пишут, — согласился он. — До среды, Марина.
И повесил трубку.

* * *

Рыба за это время не изменилась. Она лежала на блюде, мутная и укоризненная, и тень от бортика по-прежнему прятала лаврушку. Фаина Григорьевна вытирала руки о полотенце и смотрела на Льва с любопытством, которое изо всех сил старалась скрыть.

— Это про войну? — спросила она наконец.

— Про рыбу, — сказал Лев. — Интересуются, можно ли заливное делать из минтая. Я сказал — можно, но не нужно.

Он вернулся к штативу. Наклонился к видеоискателю. Руки сами нашли кольцо фокусировки — эта камера была большая, павильонная, «ФК» на деревянном штативе, с мехами и матовым стеклом, на котором изображение было перевёрнуто вверх ногами, и Лев за семнадцать лет так привык к этому перевёрнутому миру, что иногда, глядя на настоящий, ловил себя на желании его перевернуть. Судак на матовом стекле лежал брюхом кверху, и петрушка росла из блюда вниз, как сталактиты.

Он поправил резкость. Потом поправил ещё раз, хотя резкость была в порядке. Потом выпрямился, отошёл на два шага и посмотрел на всю эту конструкцию — стол, блюдо, свет из северного окна, штатив, — как смотрят на чужую работу.

— Фаина Григорьевна, — сказал он, — а принесите-ка мне ещё одну дольку лимона. Только тонкую. Как бумага.

Она принесла. Он положил дольку на желе, у самой головы судака, чуть наискосок, так, чтобы свет из окна прошёл сквозь неё и лёг на блюдо маленьким жёлтым пятном. Потом вернулся к камере, взвёл затвор, вставил кассету, вынул шторку.

— Не дышите, — сказал он Фаине Григорьевне, хотя она стояла в стороне и в кадр не попадала. Он всегда так говорил.

Он нажал на тросик. Затвор щёлкнул — длинно, с оттяжкой: выдержка была полсекунды.

Кадр получился. Он знал это, ещё не проявив. Он видел его целиком: тёмный край стола, белое блюдо с синей каймой, прозрачное желе, сквозь которое, как сквозь лёд на реке, проступают морковные кружки, и эта долька лимона на свету — единственное живое, тёплое пятно во всём холодном, геометрическом, безупречном кадре. В «Праздничном столе» это будет страница сорок или сорок два. Её будут разглядывать хозяйки в Свердловске и в Ташкенте, и кто-нибудь, может быть, даже вырежет и повесит на кухне. Кадр был идеальный.

И совершенно мёртвый. Как всё, что он снимал последние двадцать лет.

Он вынул кассету, надписал её карандашом — «Рыба зал., 22.3., дубль 1», — и убрал в ящик. Дубля два он делать не стал. Он вообще никогда не делал второго дубля, и в издательстве это знали, и считали это его чудачеством, профессиональной гордыней, и даже немного им восхищались.

— Всё, — сказал он. — Рыбу можно есть.

— Её есть нельзя, — сказала Фаина Григорьевна, — она с утра под лампой лежит. Она уже бог знает что.

— Ну, тогда похороните её с почестями, — сказал Лев. — Она хорошо послужила.

* * *

Домой он пошёл пешком.

Это было глупо: от Полянки до Новых Черёмушек километров восемь, а то и больше, и мартовский вечер был сырой, с ветром, который задувал в рукава и за воротник. Но ему не

хотелось в метро. Ему не хотелось сейчас никакого метро: ни переходов, ни перронов, ни стен, на которых теперь, к юбилею, могло висеть что угодно.

Он шёл по Полянке, потом по Якиманке, мимо французского посольства в нарядном купеческом доме с изразцами, мимо Калужской площади, где строили что-то большое и стеклянное, огороженное забором, на котором тоже висели плакаты — но другие, про космос, про Леонова, который на днях вышел из корабля в открытое космическое пространство. Про Леонова говорили всю неделю. Фаина Григорьевна плакала, когда слушала по радио. В издательстве кто-то повесил над столом вырезку из газеты: маленькая белая фигурка над огромной круглой Землёй, снятая, наверное, кинокамерой и пересъёмом переведённая в фотографию, — зернистая, мутная, почти ничего не разобрать. Лев посмотрел тогда на эту вырезку и подумал, что это первая за много лет фотография, которой он верит целиком. Потому что её невозможно было поставить. Невозможно было сказать человеку над Землёй: «А теперь ещё раз, на секунду, для страховки».

Он остановился посреди тротуара.

У церковной ограды на Якиманке, у чугунной решётки, двое мальчишек лет тринадцати фотографировали друг друга. У одного была «Смена» — пластмассовая, чёрная, школьная, рублей за пятнадцать, — и он держал её обеими руками у живота, глядя сверху в видоискатель, а другой стоял у решётки, на фоне белой колокольни, и позировал. Руки в карманах. Нога на нижней перекладине решётки. Подбородок вверх. Как в кино про лётчиков.

— Не так! — кричал тот, что со «Сменой». — Ты моргнул!

— Не моргал я!

— Моргнул! Я видел! Давай ещё раз!

— Плёнку ж жалко!

— Не жалко! Ещё раз! На секундочку! Ну встань как было!

Мальчишка у решётки вздохнул, закатил глаза, снова поставил ногу на перекладину, снова задрал подбородок. Тот, что со «Сменой», щёлкнул. Затвор у «Смены» был громкий, жестяной, с лязгом.

— Вышло? — спросил тот, у решётки.

— Вышло! Наверно.

Они засмеялись оба и побежали дальше, по Якиманке, толкаясь.

Лев стоял и смотрел им вслед.

Какая-то женщина с авоськой обошла его, оглянулась и покачала головой. Он постоял ещё немного, потом пошёл дальше, быстрее, наклонив голову против ветра.

Архив, думал он. Архив. Фотоархив большой газеты, в подвале издательского комбината. Он никогда там не был. Он никогда не интересовался, куда ушли после войны плёнки, которые они отправляли из «Боевого знамени» в Москву, — ему было всё равно, он даже был рад, что они ушли, что их больше нет рядом, что они где-то там, в чужих руках, в чужих коробках, под чужими номерами. Он не думал, что их кто-нибудь хранит. Он думал — если вообще думал, — что от войны остались только отпечатки, тысячи, сотни тысяч отпечатков, разошедшихся по газетам и книгам, а негативы сгнили, сгорели, потерялись при переездах, были смыты ради серебра, как смывали после войны старые плёнки в каждой второй лаборатории.

И ещё одно он знал точно. Он помнил это так ясно, будто это было вчера: ночь, землянка, красный фонарь, запах уксусной кислоты, мокрые полоски плёнки на верёвке, прищепки, — и Гуревич, который входит безстука, в своих очках с перемотанной дужкой, и снимает с верёвки ещё влажную полоску, и смотрит на неё на просвет, против фонаря, долго, очень долго, а потом говорит: «Режь вот эту. Шесть кадров. Контрольку сделаешь к утру. Отправим всё вместе, пусть в Москве сами выбирают». И Лев режет. Шесть кадров. Он мог тогда отрезать четыре — только сам снимок и, может быть, тот, что перед ним. Мог отрезать один. Он отрезал шесть,

потому что так сказал Гуревич, и потому что был три ночи, и потому что у него тряслись руки, и он не мог думать.

Шесть кадров. Контрольный отпечаток. Ушли в Москву самолётом двадцать третьего августа сорок второго года.

Иногда на обороте пишут такое, чего больше нигде нет.

* * *

Дома было темно. Миша ещё не вернулся — у него по понедельникам была какая-то секция, то ли самбо, то ли шахматы, Лев всё время путал. Ада уже легла: у неё был ранний приём, с восьми, и она ложилась рано, в десять, а то и в половине десятого, и засыпала сразу, как засыпают врачи, — мгновенно и глубоко, как будто кто-то выключил её рубильником. На кухне на плите стояла кастрюля, накрытая полотенцем, а на столе — записка Адиным круглым почерком, похожим на почерк в рецептах, только разборчивее: «Котлеты. Разогрей, не ешь холодные. Звонила Зина, просила напомнить про торт».

Он не стал разогревать котлеты. Он сел за стол, не зажигая верхнего света, только лампочку над плитой, и посидел так. Кухня была маленькая, шесть метров, как во всех черёмушкинских квартирах, — плита, раковина, холодильник «ЗИЛ» с толстой хромированной ручкой, который они купили в прошлом году в рассрочку и которым Ада гордилась больше, чем всеми своими грамотами. Холодильник урчал. За окном, внизу, на пустыре, где собирались строить ещё один дом, горел одинокий фонарь, и в его свете было видно, как падает мокрый снег — косо, быстро, исчезая, не долетая до земли.

Лев смотрел на снег и думал о том, что надо будет в среду говорить. Он знал, что надо говорить. Он говорил это двадцать лет — одни и те же пять фраз. «Это было на рассвете. Мы находились в боевых порядках роты. Рядовой Костин поднялся первым. Я успел сделать один снимок. Через минуту он был убит». Пять фраз. Каждая из них была правдой. Он проверял. Он столько раз их проверял, что знал наизусть, как молитву, — и каждый раз находил, что ни в одной нет лжи. Он был очень хорошим фотографом и знал: правду можно соврать, если правильно выбрать точку съёмки.

Он встал, подошёл к раковине и налил себе воды из-под крана. Вода была холодная и пахла хлоркой. Он выпил полстакана и вылил остальное.

Из коридора была видна прихожая — тёмная, узкая, с вешалкой, на которой висело его пальто, ещё мокрое на плечах. Над вешалкой, под потолком, темнела антресоль. Её дверцы были плотно закрыты; Ада закрывала их на маленький крючок, потому что одна дверца всё время открывалась сама.

Лев смотрел на антресоль.

Потом выключил лампочку над плитой и пошёл спать.

Ада не проснулась, когда он лёг. Но когда он, полежав минут десять на спине, повернулся к стене, она во сне нашла его руку и сжала, крепко, как сжимают руку человека, который сейчас упадёт. Поддержала. И отпустила.

Он долго лежал не шевелясь, боясь, что она проснётся. А может быть, боясь, что не проснётся. Он сам не знал.

Глава 2. Ржев

Подо Ржевом, август 1942

Полуторка встала в третий раз за час.

Шофёр выругался, вылез из кабины и пошёл смотреть. Лев остался в кузове. Он сидел на ящике из-под снарядов, спиной к кабине, и держал на коленях вещмешок. В вещмешке была «Лейка», завёрнутая в немецкую плащ-палатку, и шесть кассет с отснятой плёнкой, каждая — в отдельной жестянке из-под зубного порошка. Остальное его не волновало.

Шёл дождь. Он шёл уже неделю. Он был не сильный, но бесконечный, мелкий, как пыль, и от него не было спасения: он забирался под плащ, под гимнастёрку, в сапоги, в табак. Табак у всех был сырой, и все курили его сырым, с треском, с вонючим дымом, и ругали дождь, и немцев, и интендантов.

Дорога была не дорога. Это была полоса жидкой грязи шириной метров в тридцать, разъезженная так, что колеи в ней уходили вглубь на полметра. По обочинам, где грязь была погуще, шли люди. Шли туда, к фронту, — пополнение, в новых гимнастёрках, ещё не обмятых, с белыми подворотничками. И шли оттуда — раненые, кто сам, кто на плечах у товарищей, кто на подводах, на волокушах, на чём придётся. Их было больше, чем тех, кто шёл туда.

Лев смотрел на них и не снимал.

Он умел смотреть, не снимая. Это было первое, чему учит война фотографа: плёнки мало. Её всегда мало, её выдают по счёту, по две-три кассеты в неделю, и за каждый кадр надо отчитываться. Снимать можно только то, что напечатают. А это — раненых, которые идут по грязи с пустыми лицами, — не напечатают никогда.

Один раненый, проходя мимо полуторки, остановился. Он шёл сам — рука на перевязи, бинт на голове, бурый от крови и грязи, — и остановился у заднего борта, и посмотрел на Льва снизу вверх.

— Товарищ капитан. Закурить не будет?

Лев достал пачку «Беломора». Последнюю. В пачке оставалось шесть папирос. Он протянул всю пачку.

Раненый посмотрел на пачку. Потом на Льва.

— Всю, что ль?

— Всю.

— Это за что ж мне такое?

— За то, что идёшь оттуда, а не туда, — сказал Лев.

Раненый подумал. Взял одну папиросу здоровой рукой. Пачку отодвинул обратно.

— Одну, — сказал он. — Остальное — тебе. Ты ж туда едешь.

Он сунул папиросу за ухо — прикурить было нечем и негде, — кивнул и пошёл дальше по обочине, в грязи, медленно, качаясь, придерживая перевязанную руку здоровой. Лев смотрел ему в спину. Спина была мокрая, вся в глине, и на ней, на гимнастёрке, между лопатками, темнело пятно — то ли кровь, то ли просто вода.

Он не снял его. Плёнки было мало.

Полуторка не трогалась. Шофёр стоял у переднего колеса и смотрел на него, как смотрят на покойника, с которым не знают, что делать.

— Приехали, товарищ капитан, — сказал он, не оборачиваясь. — Мост, видать, опять разбили.

Лев спрыгнул в грязь. Она приняла его сапоги, как принимает трясина, — мягко и сразу по щиколотку. Он прошёл вперёд, к голове колонны, мимо застрявших машин, мимо подвод, мимо пушки, которую тащили на руках шестеро мокрых артиллеристов и которая не хотела тащиться.

Моста не было. Была речка — узкая, бурая, вздущая от дождей, — и торчащие из неё чёрные сваи, и на том берегу ещё одна колонна, такая же, ждущая. Сапёры уже возились у воды, рубили что-то, кричали. Ниже по течению, у самой воды, в воронке, лежала лошадь.

Она лежала на боку, задрав к небу ноги, и ноги эти были уже неживые, деревянные, с поджатыми копытами. Брюхо у неё раздулось. Вода заливала воронку до половины, и лошадиная голова лежала в воде, и грива колыхалась в ней, как водоросли. Глаз был открыт. На глазу сидела муха.

Лев остановился.

Кадр сложился сам. Он не хотел его, а он сложился: круглая воронка, как зрачок, мёртвая лошадь, вздыбленные копыта — четыре чёрные черты против серого неба, — и в верхнем углу, на дальнем берегу, размытые фигурки людей, ждущих переправы. Без людей кадра бы не было. Без людей это была бы просто дохлая лошадь.

Он развязал вещмешок, достал «Лейку», размотал плащ-палатку. Камера была сухая. Он проверил выдержку — тридцатая, свет плохой, — и диафрагму, и поднял аппарат к глазу.

Щелчок был тихий, почти неслышный. Это ему всегда нравилось в «Лейке»: она не кричала о себе, как наши ФЭДы с их жестяным лязгом. Она шептала.

Он сделал ещё один кадр, чуть сместившись, чтобы в воронке отразилось небо. Потом убрал камеру.

Эти два кадра никто никогда не напечатает. Он это знал. Он отрежет их при проявке и положит в отдельную коробку, к другим таким же. Коробка у него была из-под сигар — довоенная, ещё отцовская, — и в ней лежало уже десятка три таких отрезков. Сгоревшая деревня с трубами. Старуха, которая сидит на пепелище и держит кошку. Немец, вмёрзший в лёд по грудь, с открытым ртом. Ничего из этого не шло в газету. Это шло в сигарную коробку.

Он не знал, зачем снимает это. Просто снимал.

* * *

Редакция «Боевого знамени» стояла в лесу, в шести километрах от передовой, у деревни, от которой остались только название и две целые избы. Название было — Берёзки. Берёзок, впрочем, тоже почти не осталось: их порубили на блиндажи ещё весной.

В одной избе сидел редактор. В другой — литсотрудники, все шестеро, вместе с корректором и машинисткой. Типография была в автобусах: два старых ЗИСа без колёс, вкопанные в землю по самые окна и замаскированные лапником. В одном автобусе стояли наборные кассы, в другом — плоскопечатная машина, которую крутили вручную, когда не было тока. А ток бывал редко.

Фотолаборатория была в землянке. Землянку Лев выкопал сам, вместе с шофёром Кузьмичёвым, ещё в мае, когда редакция только встала в Берёзках. Она была маленькая, два на два, с нарами вдоль одной стены и столом вдоль другой, и с дверью, завешенной в три слоя: плащ-палатка, одеяло, ещё одна плащ-палатка. Иначе свет пробивался.

Лев добрался туда к вечеру, грязный по пояс. У автобуса с машиной курил Кузя — маленький, кривоногий, в огромной, не по росту, шинели, накинутой на плечи.

— Лёва-Лейка вернулся, — сказал Кузя. — А мы думали, тебя убили.

— Не дождётесь.

— Мы и не ждали. Мы тут поспорили. Шевчук говорил — убили, Липатов говорил — в плен попал. Я говорил — в медсанбате с какой-нибудь сестричкой. Я на тебя махорки поставил.

— Ну и проиграл.

— А ты точно не с сестричкой был?

— Я был с лошадью, Кузя. С мёртвой. Она была очень красивая.

Кузя подумал.

— Ну, это смотря на чей вкус, — сказал он наконец и затаился.

Из автобуса высунулась Тоня — наборщица, девятнадцати лет, с чёрными от краски пальцами и с косой, закрученной вокруг головы, чтобы не мешала. Она увидела Льва и улыбнулась.

— Ой, Лев Борисович. Живой.

— Живой, Тонечка. Что нового?

— Новое — что вас редактор с утра ищет. Три раза спрашивал. Сказал — как появится, сразу к нему.

— Сразу?

— Сказал — сразу.

— Ну, раз сразу, — сказал Лев, — значит, через час. Мне надо проявить.

Он пошёл в землянку.

* * *

Проявлять он любил. Это было единственное время, когда его никто не трогал.

Он зажёл копилку, накрытую колпаком из красного стекла, — колпак был от немецкого фонаря, трофейный, как и почти всё у него ценное, — и в землянке стало темно и красно, как внутри закрытых век. Он разложил на столе ванночки. Их было три, эмалированные, со сколами. В одну он налил проявитель, в другую — воду, в третью — фиксаж. Воду брали из ручья за лесом, и она пахла болотом.

Плёнку он проявлял в бачке, наматывая на спираль на ощупь, в полной темноте. Пальцы помнили каждое движение. Сначала надо было найти начало плёнки, потом завести её в спираль, потом крутить — медленно, ровно, чтобы витки не слиплись. Сорок витков на кассету. На войне он научился считать их, не думая, как учатся считать шаги на марше.

Он проявил все шесть кассет. Ушло на это два часа. Потом он вынимал плёнки, промывал, закладывал в фиксаж, снова промывал и развешивал на верёвке под потолком, на прищепках, как бельё.

Потом смотрел на свет.

Он смотрел долго, кассету за кассетой, держа мокрую плёнку за края, против копилки, с которой теперь снял красный колпак. На негативе всё было наоборот: чёрное небо, белые лица, белая грязь. Он давно уже читал негативы так же легко, как отпечатки, — даже легче.

Читать было нечего.

Дождь. Грязь. Бойцы в окопах — сидят, лежат, спят, накрывшись плащ-палатками. Бойцы на марше — спины, спины, спины. Пушка в грязи. Повар у кухни. Связист на столбе. Разбитый немецкий танк, уже снятый до него раз двадцать другими. Командир полка — пожилой, усталый, с лицом, на котором было написано, что он не спал три дня, — у карты. Его, может быть, возьмут. Остальное — нет.

Из двухсот с лишним кадров годных было, может быть, пять. И ни один не годился на первую полосу.

Он снял плёнки, свернул их в рулоны и сложил в коробку, написав номера. Лошадь он отрезал отдельно и положил в сигарную коробку. Потом погасил копилку, посидел в темноте, слушая, как где-то далеко, километрах в шести, ухнет артиллерия — глухо, мягко, будто кто-то бьёт кулаком в подушку.

Потом пошёл к редактору.

* * *

Гуревич пил чай.

Он всегда пил чай. Он пил его утром, днём, вечером и ночью, и, по слухам, во время бомбёжки в Вязьме, когда редакция в октябре сорок первого вырывалась из окружения, он сидел в кузове горячей машины и пил чай, а когда машина остановилась, вылез из неё, не пролив ни капли. Слухи распускал, скорее всего, сам Гуревич. Он любил легенды о себе.

Чай он пил из консервной банки. Банка была из-под американской тушёнки, с аккуратно отогнутой крышкой и проволочной ручкой, которую он сам приделал. Кружек он не признавал. «В кружке, — говорил он, — чай теряет свой пролетарский характер».

Сидел он за столом, накрытым газетами, под лампой из гильзы. Очки в железной оправе сползли на кончик носа. Одна дужка была перемотана чёрной ниткой: она сломалась ещё в Вязьме, и Гуревич отказывался заказать новые очки, говоря, что эти — счастливые.

Ему было сорок пять. Он был одессит, газетчик с девятнадцатого года, когда в шестнадцать лет начал работать курьером в какой-то губернской газете, а потом корректором, а потом репортёром, а потом всем подряд. Он пережил всё, что могли пережить газетчики его поколения, и выжил, и никто никогда не знал, как именно. Он был циником, и не скрывал этого, и цинизм его был особого рода — весёлый, усталый, без злобы, как у врача, который тридцать лет работает в приёмном покое.

— Аронов, — сказал он, не поднимая глаз от гранок. — Садись.

Лев сел на табуретку у стены.

— Чаю?

— Не откажусь.

Гуревич налил ему из закопчённого чайника в другую банку — поменьше, из-под сгущёнки. Чай был чёрный, горький, крепкий до того, что вяжет язык. Гуревич заваривал его по своему рецепту, по полпачки на чайник, и говорил, что так пили в одесских портах грузчики.

— Ну, — сказал Гуревич. — Показывай.

— Нечего показывать, Семён Аркадьевич.

— Как нечего? Неделю где-то шлялся. Двести кадров извёл, я знаю, ты на полную брал.

— Двести четырнадцать. Годных пять. Командир полка у карты — может быть. Повар у кухни — может быть, если подпись хорошую придумать. Остальное — вода.

— Вода, — повторил Гуревич. Он снял очки, протёр их краем гимнастёрки и снова надел. — А почему вода?

— Потому что дождь. Потому что все сидят в окопах и ждут, пока перестанет дождь. Потому что никто никуда не идёт. Потому что последнее наступление было неделю назад, и от батальона осталось сорок человек, и эти сорок человек сидят по уши в воде и курят сырую махорку, и я их снимал, и это получилось очень правдиво, Семён Аркадьевич. Хотите, напечатаем?

Гуревич не ответил. Он отхлебнул чаю. Потом отодвинул гранки, отодвинул банку, сложил руки на столе — пальцы были длинные, жёлтые от табака и от краски, пальцы старого наборщика — и посмотрел на Льва поверх очков.

— Двадцать третьего августа, — сказал он, — нашей газете год. Ты знаешь.

— Знаю.

— Будет юбилейный номер. Четыре полосы. Стихи Шевчука, передовица члена Военного совета, очерк о лучших людях армии. И на первой полосе — фотография. Большая, на три колонки. Угадай, какая.

— Командир полка у карты?

— Не оstri. — Гуревич не улыбнулся. — Атака. Боец поднимается в атаку. Лицо. Небо. Рука. Чтобы видно было — человек встаёт под огонь, и за ним встают другие. Понимаешь?

— Понимаю.

— И это ещё не всё. — Он порылся в бумагах, нашёл телеграфный бланк и протянул Льву. — Читай. Из Москвы. Сегодня утром пришло.

Лев прочитал. Телеграмма была короткая, на два десятка слов, суконным телеграфным языком: фотоотдел большой газеты просил от всех фронтовых и армейских изданий снимки боевых действий для специальной полосы о летнем наступлении. «Особо: атака, порыв, лица бойцов». Подпись — фамилия, которую Лев знал понаслышке.

Он вернул бланк.

— Семён Аркадьевич, — сказал он, — атаку снять нельзя.

— Почему?

— Потому что в атаке я лежу мордой в грязи. Как все. Потому что, когда люди встают и бегут, — а они бегут не в рост, они бегут согнувшись, пригнувшись, как под дождём, — так вот, когда они бегут, я лежу. Потому что если я встану, чтобы снять их лица, меня убьют через три секунды, и вы останетесь без фотографа. А если я буду снимать лёжа, я сниму их сапоги и их задницы. И дым. Много дыма. Я снимал атаку, Семён Аркадьевич, под Клином, в декабре, вы помните. Вы сами сказали — похоже на прачечную при пожаре.

— Сказал, — согласился Гуревич. — И правильно сказал.

— Ну вот.

— Ну вот, — повторил Гуревич и снова отхлебнул чаю. Он помолчал. Где-то за стеной, в соседней избе, Шевчук читал кому-то стихи, громко, с подвыванием, и кто-то смеялся. — Значит, сними то, что выглядит как атака.

Лев молчал.

— Не делай такое лицо, — сказал Гуревич. — Ты не барышня из института благородных девиц. Ты знаешь, как это делается. Все это делают. Халтурин из соседней армии — делает. Мелентьев из дивизионки — делает. Москвичи, которые сюда на три дня приезжают в новеньких шинелях, — эти вообще только так и делают. Ты один у нас такой принципиальный.

— Я не принципиальный. Я просто не умею.

— Научись. Это не трудно. Находишь хорошего парня, с хорошим лицом, ставишь в правильную точку, говоришь ему: «Изобрази». Он изображает. Щёлк. Всё.

— Это враньё, Семён Аркадьевич.

— Это не враньё. — Гуревич наклонился вперёд, и лампа из гильзы осветила его лицо снизу, сделала его старше, резче, как на плохом портрете. — Это образ. Понимаешь разницу? Враньё — это когда пишут, что мы взяли Ржев, а мы его не взяли. Это я не напечатаю, хоть меня режь. А образ — это другое. Атака была? Была. Позавчера. Люди поднимались под огонь? Поднимались. Кто-то первым поднялся? Конечно, кто-то первым поднялся, всегда кто-то первый. Мы просто не успели его снять. Вот и всё. Мы показываем то, что было. Только сделанное в удобный для съёмки момент.

— А тот, кто поднимался позавчера первым, где сейчас?

— Не знаю, — сказал Гуревич спокойно. — Скорее всего, убит. Первые, Лёва, обычно убиты. Поэтому их и не снимаешь.

Он взял банку, посмотрел в неё, увидел, что чай кончился, и поставил обратно.

— Ты думаешь, кто читает нашу газету? — спросил он. — Бойцы читают. Вот эти сорок человек, которые сидят по уши в воде, — они читают. Курят её, конечно, больше, чем читают, но и читают тоже. И что им нужно увидеть? Себя по уши в воде? Они это и так видят, каждую минуту. Им нужно увидеть себя — вставшими. Понимаешь? Не в грязи — в небе. Чтобы человек посмотрел на эту фотографию и подумал: вот, это я. Это мы. Мы — вот такие. А не такие, какими нас делает эта проклятая грязь. Им это нужнее, чем хлеб. Хлеб им, слава богу, дают. А это — только мы можем дать.

— А ты?

— А тылу — тем более. Матерям. Жёнам. Им надо знать, за что. Им надо знать, что их сыновья не просто сгнили в болоте под деревней, которой даже на карте нет. Что они поднимались. Что они были — вот такие. — Он показал рукой куда-то вверх, к потолку избы, к

закопчённым балкам. — Правда, Лёва, — это не то, что было. Правда — это то, что нужно фронту. Я в газете двадцать три года, я знаю, о чём говорю.

Лев смотрел на свою банку из-под сгущёнки. Чай в ней остыл, и на поверхности плавала маленькая чайинка, вертелась, не тонула.

— А если я откажусь? — спросил он.

— Не откажешься, — сказал Гуревич. — Ты хороший фотограф. И ты понимаешь, что я прав. Ты просто ещё не хочешь этого понимать. Но это пройдёт. — Он снова надел очки, которые всё это время держал в руке, и придвинул к себе гранки. — Москва, кстати, если понравится, напечатает с подписью автора. Крупно. На всю страну. Подумай об этом тоже. Ты после войны хочешь в «Физкультуре» опять бегунов снимать или куда-нибудь повыше?

— Я после войны хочу живым быть.

— Ну, это уж как получится. — Гуревич взял карандаш. — Значит, так. Второй батальон Сто сорок третьего, пятая рота. Они стоят у Буракова, это километра четыре отсюда, если по прямой, и восемь — если в обход болота. Деревни там нет, одни печи, но место тихое, немцы не лезут, мы не лезем, после позавчерашнего обе стороны отдыхают. Командир взвода — лейтенант Рябов, мальчишка, но толковый. Я с ним говорил по телефону, он тебя ждёт. Поживи там. День, два, три — сколько надо. Выбери парня. Найди точку. Свет посмотри: на рассвете там, говорят, красиво, солнце из-за леса. Мне нужна фотография к утру двадцать второго, чтобы успеть сверстать. Всё.

Лев встал.

— Семён Аркадьевич.

— Что?

— А если не получится?

Гуревич поднял на него глаза поверх очков. В них не было ни злости, ни насмешки. В них была только усталость — та огромная, бездонная усталость, которая была у всех, кто воевал подо Ржевом этим летом, и которую никто никогда не фотографировал, потому что её невозможно было сфотографировать.

— Получится, — сказал он. — Ты же у нас лучший. Иди, поспи. На рассвете Кузя тебя доведёт до развилки, дальше пешком.

* * *

Он ушёл на рассвете.

Кузя довёз его на своей полуторке до развилки у разбитой мельницы, высадил, пожелал «ни пуха» и уехал, буксуя и разбрызгивая грязь. Дальше Лев шёл пешком, с проводником — связистом из батальона, который тянул новую нитку к пятой роте и знал дорогу.

Связиста звали Мухин. Он был немолод, молчалив и не задавал вопросов. Он шёл впереди, разматывая катушку, и провод ложился в грязь за ним, как пуповина. Иногда Мухин останавливался, прислушивался, потом шёл дальше. Иногда говорил: «Тут пригнись», — и Лев пригибался. Иногда говорил: «Тут бегом», — и Лев бежал, и ничего не происходило, и они шли дальше.

Болото обходили по краю. Это было не болото даже — это было поле, которое стало болотом: от дождей, от воронок, от гусениц, от тысяч ног. Кое-где из воды торчали колья — остатки изгороди. Кое-где — что-то другое, о чём Лев старался не думать. Запах стоял тяжёлый, сладкий. Он знал этот запах. Все, кто был подо Ржевом этим летом, знали этот запах и никогда не говорили о нём.

К полудню дождь кончился. Небо не прояснилось, но стало выше, светлее. Лев отметил это машинально: свет стал рассеянным, мягким, хорошим для портретов. Если завтра будет так же, можно снимать лица без вспышки, без отражателя, без всего.

Он поймал себя на этой мысли и разозлился на себя.

К вечеру они вышли к Буракову.

Деревни не было. Были печи. Двенадцать или пятнадцать печей, торчащих из земли посреди поля, как надгробия, с чёрными трубами, глядящими в небо. Вокруг печей — бурьян, и в бурьяне — воронки, и в воронках — вода. За печами, метров через двести, начинался лес, сожжённый, без листьев, одни стволы. В лесу были немцы.

Наши были перед печами. В окопах.

Окоп был вырыт неглубоко — по грудь, не больше, — и на дне его стояла вода. Не лужа — вода, по колено, чёрная, с плавающими в ней окурками, щепками, обрывками бумаги. Люди сидели на ступеньках, вырубленных в стенках окопа, на ящиках, на досках, положенных поперёк, — кто где, лишь бы над водой. Некоторые спали стоя. Некоторые курили. Пахло мокрой шерстью, махоркой, мочой и тем самым сладким запахом с поля.

Мухин прыгнул в окоп первым, по пояс в воду. Лев прыгнул за ним.

Вода была холодная, как в колодце. Она сразу залила сапоги, и Лев почувствовал, как немеют пальцы.

К ним шёл человек — шёл по воде, медленно, раздвигая её коленями, как идут вброд. Невысокий, широкоплечий, в плащ-палатке, накинутой на голову, как капюшон. Лицо у него было тёмное, обветренное, с короткими рыжеватыми усами и с глазами, которые сразу, с одного взгляда, оценили Льва — его новую, ещё не изодранную шинель, его вещмешок, его кобуру, его лицо — и сделали вывод.

— Сержант Фомин, — сказал он. — Командир второго отделения. Вы, что ли, корреспондент?

— Я. Капитан Аронов.

— Лейтенант говорил. — Фомин посмотрел на вещмешок. — Аппарат там?

— Там.

— Поберегите. Сыро у нас. — Он помолчал. — Лейтенант на том конце, у пулемёта, вас велел к нему, как придёте. Но сейчас лучше не идти. Там просматривается. Подождите, как стемнеет.

— Подожду.

— Ну, ложитесь тогда тут, корреспондент, — сказал Фомин и показал на ступеньку, вырубленную в стене окопа, рядом с какой-то спящей фигурой, накрытой шинелью с головой. — Тут посуше. Только голову не поднимайте. У них снайпер на том краю. Злой. Третьего дня двоих наших.

Лев сел на ступеньку. Вода плескалась у самых сапог. Он поставил вещмешок на колени, обнял его руками и прислонился спиной к мокрой стенке окопа.

Спящая фигура рядом зашевелилась, откинула шинель, и из-под неё показалась голова — рыжая, взъерошенная, с веснушками, которых было так много, что лицо казалось золотым в сумерках, — и посмотрела на Льва.

— Ой, — сказала голова. — А вы кто?

— Корреспондент, — сказал Фомин. — Спи, Костин.

— Какой корреспондент?

— Газетный. Фотограф. Спи, сказал.

Голова не легла. Она смотрела на Льва — на вещмешок у него на коленях, на его лицо, на его новую шинель, — и с каждой секундой глаза её становились всё круглее, а рот — всё шире. Между передними зубами у него была щербинка.

— Фотограф, — сказал он медленно, как будто пробовал слово на вкус. — Самый настоящий? С аппаратом?

— С аппаратом, — сказал Лев.

— Ох ты, — сказал рыжий и сел. Шинель свалилась с него в воду, он не заметил. — Ох ты ж. А снимать будете? А кого? А меня можно?

— Костин, — сказал Фомин, не оборачиваясь.

— Да я ничего, товарищ сержант. Я только спросил.

Лев смотрел на него. В сумерках, на фоне тёмной стены окопа, его лицо было единственным светлым пятном — рыжее, золотое, с открытым ртом, с этой щербинкой, с глазами, в которых не было ни войны, ни усталости, ни болота, ничего, кроме жадного, детского любопытства.

Кадр, подумал Лев. Вот кадр.

И не стал доставать аппарат. Было слишком темно.

Глава 3. Контрольки

Москва, март 1965

Марина положила трубку и ещё с минуту сидела, не снимая с неё руки, как будто трубка могла зазвонить снова и сказать что-нибудь, что она пропустила.

— Ну? — спросил Гоша от соседнего стола. — Послал?

— Согласился.

— Да ладно.

— В среду, в два, у него в издательстве. Ровно час. Без фотографа, без магнитофона.

— Без фотографа — это он зря, — сказал Гоша. — Я бы его снял. Фотограф, снятый фотографом. Рекурсия. Ладыгин бы оценил.

— Ладыгин не знает слова «рекурсия».

— Ладыгин знает все слова. Он просто делает вид.

Гоша Белкин был фотографом «Знамени юности» и единственным человеком в редакции, кто был моложе Марины, — ему было двадцать четыре. Он носил узкие брюки, за которые его дважды прорабатывали на комсомольском собрании, курил болгарские сигареты с фильтром и считал себя наследником всех великих фотографов мира сразу, о которых знал по журналу «Советское фото» и по двум затрёпанным польским альбомам, неизвестно как попавшим в Москву. Снимал он, впрочем, хорошо. Лучше, чем того требовала газета.

Отдел, в котором сидела Марина, — отдел очерка и публицистики — занимал на четвёртом этаже издательского комбината одну длинную комнату с окнами на внутренний двор. Столы стояли в два ряда, как парты. Пахло табаком, клеем, свежими гранками и мокрыми зонтиками, которые сохли в углу у батареи. На стене висела карта СССР, утыканная флажками: куда ездили корреспонденты в этом году. Флажков было много, и большая часть торчала в Сибири, где строили ГЭС.

На Маринином столе лежали письма. Их было уже штук сорок, и каждый день приносили ещё. «Герои со снимков» шли третью неделю — вышли два материала: про старшину с плаката «Дойдём до Берлина!», который оказался жив, работал бригадиром в колхозе под Полтавой и страшно стеснялся, и про девушку-зенитчицу с фронтовой обложки, которая погибла в сорок четвёртом в Польше и которую по фотографии узнала сестра. После второго материала письма пошли валом. Писали матери, писали однополчане, писали люди, уверенные, что узнали на старых снимках себя или своих. Почти всегда ошибались. Иногда — нет.

Марина разбирала их по вечерам и раскладывала по папкам. Папка «Вперёд, за Родину!» была пока самой тонкой: три письма от школьников, просивших «рассказать подробнее», одно — от старика-пенсионера из Калинина, утверждавшего, что знал Костина «по довоенным годам» и что тот был «очень сознательный юноша», и одно — без обратного адреса, корявым почерком, из которого она поняла только, что автор «был там» и что «не всё так было». Это последнее она перечитала раз десять. Подписи не было, штемпель — Люберцы.

— А какой он? — спросил Гоша. — Голос какой?

Марина подумала.

— Весёлый, — сказала она. — Очень весёлый. Слишком.

— Это как — слишком?

— Не знаю. — Она наконец сняла руку с трубки. — Он всё время шутил. Про рыбу. Про то, что он скучный. Про то, как от меня отделаться. Знаешь, как в кино разведчик на допросе — он болтает, болтает, и всё не по делу, и ты думаешь, что он просто болтун, а потом понимаешь, что он ни разу не сказал ничего. Вот так.

— Может, он просто такой человек.

— Может, — сказала Марина. — А может, нет. Пойду в архив.

* * *

Фотоархив помещался в подвале.

Туда вела отдельная лестница, железная, крутая, с перилами, отполированными за тридцать лет тысячами ладоней. Внизу была дверь, обитая жестью, с табличкой «Фотоархив. Посторонним вход воспрещён», и за дверью — длинный коридор, освещённый лампами в проводочных намордниках, и в конце коридора — комната без окон, заставленная стеллажами до потолка.

Архив принадлежал не «Знамени юности», а большой газете — той, что занимала в комбинате три этажа, имела собственный подъезд и вахтёра в фуражке. Сюда, в этот подвал, ещё с войны свозили всё, что присылали фронтовые фотокорреспонденты, — свои и чужие, из армейских газет и дивизионок, — и всё это хранилось, разбиралось, нумеровалось, и почти никогда не доставалось обратно. «Знамени юности» пользоваться архивом разрешалось по старой дружбе редакторов, по особой записке, и Марина такую записку выпросила у Ладыгина ещё в январе, когда только начинала серию.

Хозяйку архива звали Тамара Ефимовна. Ей было за шестьдесят, она носила синий сатиновый халат поверх шерстяного платья, круглые очки и вязаную кофту на плечах, потому что в подвале всегда было холодно, — для плёнки так лучше, — и говорила тихим, бесцветным голосом человека, который много лет разговаривает в основном с коробками.

— Ильина, — сказала она, не поднимая головы от картотеки. — Опять вы.

— Опять я, Тамара Ефимовна.

— Кого сегодня?

— «Боевое знамя». Армейская газета. Август сорок второго года, Калининский фронт. Фотокорреспондент Аронов.

Тамара Ефимовна подняла голову.

— Аронов, — повторила она. — Лев Борисович.

— Вы его знаете?

— Знала. Он после войны приходил раза два. Сдавал остатки. Потом перестал. — Она сняла очки и посмотрела на Марину без них, близоруко, как будто так лучше видела. — Вам «Вперёд, за Родину!»?

— Да.

— Это у нас на особом хранении. — Она помолчала. — Его часто спрашивают. Раз в год, а то и чаще. Только обычно им отпечаток надо, для книжки. Никто негатив не смотрит.

— А я хочу негатив.

Тамара Ефимовна надела очки, встала, взяла связку ключей с гвоздика у двери и пошла между стеллажами, шаркая войлочными тапками. Марина пошла за ней.

Стеллажи были деревянные, некрашенные, и на каждом — коробки, коробки, коробки. Картонные, жестяные, фанерные, из-под чего угодно — из-под обуви, из-под печенья, из-под патронов. На каждой — наклейка, а на наклейке — номер, название газеты, фронт, месяц и год, выведенные фиолетовыми чернилами одним и тем же аккуратным, почти чертёжным почерком. Почерком Тамары Ефимовны, догадалась Марина. Сколько же это лет, подумала она. Сколько же это тысяч коробок.

Они дошли почти до конца прохода. Тамара Ефимовна остановилась у железного шкафа, покрашенного в серый цвет, открыла его одним из ключей и, порывшись, вынула плоскую картонную папку, перевязанную тесёмкой. На папке было написано: «Боевое знамя (арм.). Калининский фр. VIII.1942. Аронов Л. Б. Особ. хр.».

— Здесь смотрите, — сказала Тамара Ефимовна и показала на стол у шкафа, с лампой. — С собой не дам. И руками не хватать. Перчатки вон там.

Марина надела перчатки — тонкие, нитяные, серые от бесконечных стирок — и развязала тесёмку.

* * *

В папке был конверт. Простой почтовый конверт, жёлтый, без марки, с полустёршимся штампом полевой почты. На нём химическим карандашом было написано: «Москва. Фотоотдел. Срочно. Самолётом». И ниже, другим почерком, мельче: «Пл. № 14, кадры 31–36. Аронов. 21.8.42. Буракова, 143 сп».

В конверте лежали две вещи.

Первая была узкая полоска плёнки, длиной в две ладони, свёрнутая трубочкой и вложенная в пергаментный кармашек. Вторая — лист фотобумаги размером с тетрадную страницу, слегка покоробленный, с загнутым углом. На листе, в два ряда по три, были отпечатаны шесть маленьких кадров — каждый не больше почтовой марки.

Контрольный отпечаток. Контролька, как говорил Гоша. Её делают, приложив негатив прямо к бумаге, без увеличителя, — чтобы видеть, что на плёнке, и выбрать нужный кадр. Марина знала это от Гоши, который однажды показывал ей свои контрольки, исчерканные красным карандашом, и объяснял, что по контролькам видно, как фотограф думает. «Вот тут я искал, — говорил он, тыча пальцем, — вот тут нашёл, а вот тут уже просто доснимал плёнку, чтобы перемотать».

Она положила лист под лампу.

Четвёртый кадр, первый в нижнем ряду, был обведён красным восковым карандашом, жирно, в два захода. Она узнала его сразу, как узнала бы собственное лицо в зеркале: этот снимок она видела всю жизнь. Он висел в её школе, на втором этаже, у кабинета истории. Он был на обложке её учебника. Он был на открытке, которую ей подарили в пионерском лагере за победу в конкурсе чтецов. Он был в метро — она видела его на прошлой неделе на «Киевской». Человек над бруствером. Винтовка. Поднятая рука. Небо.

Здесь он был маленький, с ноготь, и от этого казался беззащитным, как фотография в паспорте.

Она смотрела на него долго. Потом поняла, что смотрит на него, чтобы не смотреть на остальные. Что-то в ней уже увидело остальные — краем глаза, пока она искала обведённый кадр, — и не хотело их видеть.

Она заставила себя перевести взгляд на верхний ряд.

Первый кадр. Тот же человек — она узнала его по пилотке, сдвинутой набок, и по чему-то в посадке головы. Он сидел, не стоял. Сидел на дне окопа, на ступеньке или на ящике, прислонившись спиной к стенке, и курил. Самокрутка была у самых губ, дым шёл вверх, и он щурился от дыма одним глазом. Лицо было в тени, но видно было, что он молодой. Совсем молодой. Видно было, что ему хорошо: что он сидит, курит, и ему хорошо, и никуда не надо.

Второй кадр. Он смеялся. Голова откинута назад, к стенке окопа, рот открыт во всю ширину — не так, как на плакате, а по-настоящему, по-человечески, со всеми зубами, — и глаза зажмурены. Он смеялся так, как смеются над хорошей шуткой, над такой, которую потом пересказывают неделю. Даже на кадре размером с марку было видно, что он рыжий: волосы выходили светлыми, почти белыми, светлее неба.

Третий кадр. Он махал рукой. Прямо в объектив, ладонью, как машут с поезда, и улыбался. Пилотка совсем съехала на ухо.

Четвёртый — обведённый. Атака.

Пятый. Бруствер. Край окопа, земля, какие-то палки, торчащие из земли, — и небо над ними. Пусто. Никого. Как будто фотограф снимал пейзаж.

Шестой. Ничего. Серое пятно, полосы, мазки — как если бы камеру уронили или дёрнули в момент съёмки. В одном углу угадывалось что-то похожее на руку, растопыренные пальцы, размытые в движении, но, может быть, это была не рука. Может быть, просто тень.

Марина сидела, не двигаясь.

Сначала она ничего не поняла. Точнее — поняла сразу, но не дала себе этого понять, как не даёшь себе понять, что потерял кошелек, пока не перероешь все карманы. Она перерыла все карманы. Она подумала: может быть, кадры перепутаны, и первые три сделаны в другой день. Нет: номера плёнки шли подряд — 31, 32, 33, 34, 35, 36, — их было видно на негативе, она подняла полоску к лампе и проверила, сквозь пергамент, не вынимая. Подряд. Она подумала: может быть, первые три сделаны накануне, вечером, а четвёртый — утром, на рассвете, перед атакой. Нет: свет был один и тот же. Она не разбиралась в фотографии так, как Гоша, но тут не надо было разбираться: на всех четырёх кадрах свет падал слева, низкий, косой, утренний, и тени на стенке окопа были одинаковые. Это было одно утро. Одни и те же несколько минут.

Она подумала: может быть, он смеялся, а потом немцы пошли, или наши пошли, и ему пришлось вскочить. Но тогда — где дым? Где разрывы? Где другие люди, которые встают вслед за ним? На обведённом кадре никого больше не было. Только он — над бруствером, против неба. На пятом кадре — пустой бруствер. На шестом — ничего.

Атаки не было.

Она сказала себе это и почувствовала, как у неё холодеют руки — даже в перчатках, даже под лампой.

Атаки не было. Человек сидел в окопе, курил и смеялся. Потом фотограф попросил его встать. Он встал. Фотограф снял. Потом...

Дальше она не знала, что было потом. «Через минуту после того, как был сделан этот снимок, герой пал смертью храбрых». Она знала эту подпись наизусть. Её знали наизусть все.

Пустой бруствер. Размытое пятно.

Она перевернула лист.

На обороте, в верхнем углу, стоял фиолетовый штамп: «Боевое знамя. Газета армии. Фотолаборатория». Под штампом тем же мелким почерком, что на конверте, было написано: «21.8.42, рассвет. Рядовой Костин А. Ф., 5 рота». Ниже, другим почерком — размашистым, с сильным нажимом, красным карандашом, тем же, которым был обведён кадр: «34 — в номер, на 3 кол. Остальное — на усмотрение Москвы. Г.» И под этим, тем же красным карандашом, чуть в стороне, будто приписано позже, одно слово, подчёркнутое дважды: «Подпись — моя».

Марина перечитала это несколько раз.

«Г.» Гуревич, наверное, — редактор «Боевого знамени», она встречала эту фамилию в старых подшивках. «Подпись — моя». Подпись под снимком. Значит, это он её сочинил. Ту самую, которую все знают наизусть.

«Остальное — на усмотрение Москвы».

Он отправил это в Москву. Всё. Все шесть кадров. Не вырезал, не спрятал. Положил в конверт и написал: «Срочно. Самолётом».

— Ну что, — сказала у неё за спиной Тамара Ефимовна. — Нашли, что искали?

Марина обернулась. Тамара Ефимовна стояла в проходе между стеллажами, сложив руки на животе, поверх синего халата, и смотрела на неё — не на контрольку, а на неё, — спокойно и как будто чуть устало.

— Тамара Ефимовна, — сказала Марина. — Вы это видели?

— Видела.

— Давно?

— В сорок втором. Я тогда тоже тут сидела. Его из самолёта привезли прямо ко мне, я регистрировала. — Тамара Ефимовна помолчала. — Тогда фотоотделом заведовал Пётр

Ильич, царство ему небесное. Он посмотрел, выбрал тот, обведённый, и сказал: «Дадим на первую». А это велел убрать на хранение. И чтобы никому без него.

— А потом?

— А потом Пётр Ильич умер, в пятидесятом. А я осталась.

— И вы... — Марина не знала, как спросить. — И вы никогда никому не показывали?

— Мне никто не говорил показывать. И не говорил не показывать. Мне сказали — на хранение. Я храню. — Тамара Ефимовна подошла ближе, взглянула на контрольку через Мариного плечо — коротко, как смотрят на знакомое лицо в толпе, — и отвела глаза. — Вы молодая, деточка. Вы думаете, вы что-то нашли. А у меня тут таких коробок — вон, полный подвал. Половина войны так снята. Если не больше. Танки на учениях. Атаки после боя. Знамёна над рейхстагом — так и вообще. Я тут двадцать пять лет сижу, я знаю.

— Но тут же человек погиб!

— Там все погибли, — сказала Тамара Ефимовна просто. — Или почти все. У меня два сына погибли. Ни одной фотографии с фронта не прислали, ни одной. Я бы любую взяла. Хоть такую.

Она постояла ещё немного, потом пошла обратно к своему столу, к картотеке, шаркая тапками.

Марина повернулась к контролке. Рыжий парень на втором кадре смеялся, запрокинув голову, и щербинка у него между зубами была видна даже на кадре размером с марку.

* * *

Гоша сказал: «Ты с ума сошла», когда она изложила ему, что ей нужно. Потом сказал: «Тамара не даст». Потом сказал: «Ладно, попробую». Он умел разговаривать с Тамарой Ефимовной: он приносил ей из буфета пирожки с повидлом и выслушивал её рассказы о внуке, который учился в Бауманском.

Тамара не дала негатив вынести. Но в архиве была своя лаборатория — маленькая, в соседней комнате, с одним увеличителем и тремя ванночками, — и туда Гоша был допущен, под честное слово, на два часа, после восьми вечера, когда большая газета уходила верстать номер и в подвале не оставалось никого, кроме вахтёра.

Марина сидела рядом с ним в темноте, на табуретке, и смотрела.

Она никогда раньше не видела, как это делается. Гоша работал быстро и молча, без своих обычных шуточек. Он вставил полоску в рамку увеличителя, включил его — на белом листе внизу появился кадр, огромный, перевёрнутый, негативный: чёрное лицо, белые зубы, — и долго крутил ручки, наводя резкость. Потом выключил, положил лист фотобумаги, снова включил, считая про себя. Потом выключил и опустил лист в ванночку с проявителем.

— Смотри, — сказал он.

Лист был белый. Он плавал в ванночке, и Гоша покачивал её, чтобы проявитель омывал бумагу ровно. Марина смотрела на белый лист под красным светом фонаря и ничего не видела.

Потом на листе проступило пятно. Серое, бесформенное, как тень от облака на снегу. Потом ещё одно. Потом пятна стали темнеть, сливаться, обретать края — и вдруг, разом, как будто кто-то поднял занавес, из белого вышло лицо.

Он смеялся.

Он смеялся прямо на неё — из ванночки, из-под тонкого слоя жидкости, которая колыхалась над ним, как вода над утопленником. Голова откинута. Рот открыт. Глаза зажмурены так, что вокруг них собрались морщинки — откуда морщинки в девятнадцать лет? от смеха, только от смеха. Щербинка между передними зубами. Веснушки — их было видно теперь, крупно, каждую. На щеке — грязь, полоса грязи, как будто он вытер лицо рукой. Самокрутка

— она торчала из уголка губ, чудом не выпадая. Пилотка набекрень, и из-под неё — рыжие вихры, которые на чёрно-белом снимке были почти белыми, светящимися, как одуванчик.

Ему было смешно. Ему было так смешно, что Марина, глядя на него, почувствовала, что сама начинает улыбаться, — и испугалась этого, и сжала губы.

— Хватит, — сказал Гоша и выхватил лист пинцетом. — Перепроявим.

Он опустил отпечаток в воду, потом в фиксаж, потом снова в воду. Потом включил белый свет — не верхний, а маленькую лампочку над столом, — и они оба посмотрели на мокрый лист, лежащий в ванночке с водой.

— Хороший кадр, — сказал Гоша тихо. Тихо и как-то растерянно. — Знаешь, это очень хороший кадр. Это лучше, чем тот. Я серьёзно. Тот — плакат. А этот — живой. Он его снимал, понимаешь, как я своих снимаю, когда они не знают. Ну, то есть знают, конечно, но забыли. Вот этот момент, когда человек забыл, что его снимают... — Он замолчал. — А потом он ему сказал: «Встань».

— Да, — сказала Марина.

— И он встал.

— Да.

Гоша помолчал.

— Будешь печатать?

— Не знаю, — сказала Марина. — Пятый тоже напечатай. И шестой.

— Зачем шестой? Там ничего нет.

— Напечатай.

Он напечатал. Пятый — бруствер против неба, земля, палки, ничего — вышел резким и пустым. Шестой вышел серым, полосатым, бессмысленным. В углу, там, где на контролке угадывалась рука, на большом отпечатке тоже что-то угадывалось — растопыренное, размытое, — и Марина долго смотрела на это, но так и не смогла понять, рука это или нет.

* * *

Домой она пришла в двенадцатом часу.

Они с матерью жили на Плющихе, в большой коммунальной квартире в старом доходном доме — шесть комнат, шесть семей, одна кухня с шестью столами, одна ванная с колонкой, расписание уборки, вывешенное на двери туалета. У них была одна комната — двадцать метров, с высоким потолком и с лепниной в углах, которую мать каждую весну пыталась отмыть и каждую весну бросала. В комнате стояли две кровати, разделённые шкафом, стол у окна, этажерка с книгами и мамин письменный стол, заваленный тетрадами её восьмиклассников.

Мать не спала. Она сидела за этим столом, в очках, в шерстяной кофте поверх ночной рубашки, и проверяла сочинения. Красный карандаш ходил по тетради быстро, привычно.

— Ты поздно, — сказала она, не оборачиваясь.

— Работала.

— Ела?

— Ела, — соврала Марина.

— В буфете? Там же одни пирожки.

— Ну и пирожки. Мам, ложись, первый час уже.

— Сейчас. Тут у меня Воронцов про Наташу Ростову пишет, что она «легкомысленная мещанка, недостойная князя Андрея». Я хочу понять, кто ему это сказал. Неужели сам додумался?

Марина сняла пальто, повесила на крючок за дверь, разулась. Подошла к своему столу — то есть к общему, у окна, — и положила на него портфель. Потом открыла портфель и вынула конверт, в который Гоша положил отпечатки, ещё чуть влажные, проложенные газетой.

Она не стала вынимать их сразу. Она посмотрела на стену над столом.

Там висела фотография отца. Единственная. Другой не было: все остальные сгорели в сорок первом, когда в их старый дом на Красной Пресне попала зажигалка, а эта уцелела, потому что мать носила её с собой, в сумочке. Отец был снят в фотоателье, в форме, в фуражке, в полный рост, на фоне нарисованной балюстрады, за которой был нарисован же парк с фонтаном и лебедями. Одна рука лежала на балюстраде, другая — на ремне. Он смотрел прямо в объектив, серьёзно, строго, как смотрят на начальство. Под фотографией, на паспарту, золотым тиснением: «Фотография Ржаксина. Москва. 1941».

Марина знала этот снимок наизусть, как знала наизусть плакат с Костиным. Она смотрела на него каждый день двадцать с лишним лет. Отец погиб в сорок третьем, под Курском, — артиллерист, старший лейтенант, командир батареи. Ей было четыре. Она его не помнила. Совсем. Ни голоса, ни рук, ни запаха. Был только этот человек на фоне балюстрады — строгий, неподвижный, с рукой на ремне.

— Мам, — сказала она.

— М-м?

— А папа любил фотографироваться?

Красный карандаш остановился.

— Почему ты спрашиваешь?

— Просто.

Мать сняла очки и повернулась на стуле. Она была красивой женщиной — до сих пор, в пятьдесят, — с прямой спиной, с седыми волосами, убранными в тугий узел, с лицом, на котором было слишком много терпения. Учительское лицо.

— Не любил, — сказала она. — Терпеть не мог. Его этот Ржаксин час мучил: «Руку на балюстраду, нет, повыше, подбородок, подбородок, теперь не моргайте». Он потом пришёл домой злой, как собака, и сказал, что больше никогда в жизни. Я его туда силой затащила. Перед отправкой. Сказала — мне на память надо.

— А какой он был? Ну... на самом деле?

— Ты же знаешь.

— Я знаю, какой он здесь.

Мать посмотрела на фотографию на стене. Долго посмотрела. Потом снова надела очки.

— Он смешливый был, — сказала она. — Над всем смеялся. Над начальством, над соседями, над моими пирогами. Смеялся, а глаза закрывал. Вот так. — Она зажмурилась на секунду, по-детски, и Марина вдруг увидела, что мать улыбается. — Ржаксин ему так и сказал: «Товарищ лейтенант, вы мне всю плёнку извели, вы всё время смеётесь». Пришлось на третий раз только снять. Когда он разозлился.

Она повернулась обратно к тетрадям.

— Ложись, Мариша. Поздно.

Марина постояла ещё немного. Потом вынула из конверта отпечатки — осторожно, за края, — и положила их на стол рядом. Слева — открытку с плакатом, которую она носила в портфеле с января, с тех пор как начала серию: Костин над бруствером, «Вперёд, за Родину!». Справа — мокрый отпечаток восемнадцать на двадцать четыре: Костин смеётся.

Она выключила верхний свет и включила настольную лампу.

Две фотографии одного человека лежали рядом, сделанные с разницей в несколько минут. Может быть, в одну минуту. Одна была символом войны. Её знала вся страна, её печатали в учебниках, по ней назовут школу. Другая была фотографией живого рыжего парня, который смеялся над какой-то шуткой и которого больше нет.

Марина смотрела на них, пока мать не выключила свою лампу и не легла. Потом ещё долго смотрела в темноте, когда отпечатки уже не было видно, а было видно только пятно

света из окна — от фонаря на Плющихе, — лежащее на столе ровным прямоугольником, как пустой кадр.

Она думала о том, что в среду, в два, на Большой Полянке, она будет сидеть напротив человека, который сказал рыжему парню: «Встань». И который двадцать три года после этого говорил всем, что была атака.

Она думала, что это будет главный материал в её жизни.

И ещё о чём-то думала, о чём-то другом, чего не могла назвать, — о своём отце, наверное, о Ржаксине, о балюстраде, нарисованной на холсте. Но это она додумать не успела: уснула за столом, положив голову на руки, — так и проснулась утром с затёкшей шеей, и мать уже ушла в школу, и на столе, рядом с отпечатками, стоял стакан чая, накрытый блюдцем, ещё тёплый.

Глава 4. Взвод

Подо Ржевом, август 1942

К лейтенанту пошли, когда совсем стемнело.

Фомин вёл. Шёл впереди по воде, не оборачиваясь, и Лев шёл за ним, держась за его плащ-палатку, как ребёнок за материну юбку. Иначе было нельзя: в темноте окоп петлял, ступеньки уходили под воду, из стен торчали корни и обрывки проводов. Один раз Лев оступился и ушёл в воду по пояс. Фомин, не оборачиваясь, протянул назад руку, поймал его за ремень и выдернул.

— Тут яма, — сказал он. — От мины. Запомните.

— Запомню.

— Все говорят «запомню». А потом опять туда.

Шли минут десять. Окоп был длинный, на всю роту, и людей в нём было мало. Лев насчитал человек двадцать, не больше. Кто спал, кто сидел, кто стоял у бруствера, глядя в темноту. Огней не было. Только раз в соседнем ходе сообщения кто-то чиркнул спичкой, и тут же из темноты зашипели: «Сдурел?!» — и спичка погасла.

С немецкой стороны взлетела ракета. Белая, медленная. Она повисла над полем, и всё вокруг сделалось серебряным и чётким, как на передержанном отпечатке: бруствер, печи, трубы, бурьян, колья. Тени от печей легли длинные, чёрные, и поползли, когда ракета стала опускаться. Фомин присел. Лев присел за ним. Ракета погасла.

— Каждые пять минут, — сказал Фомин. — Всю ночь. Боятся.

— Чего?

— Нас.

Лейтенант Рябов сидел у пулемёта, в пулемётном гнезде, вырытом в стенке окопа и накрытом сверху бревнами в два наката. Гнездо было сухое — единственное сухое место, которое Лев пока видел. Пулемётчик спал на дне, свернувшись калачиком. Лейтенант сидел рядом, на ящике с лентами, и что-то писал в планшете при свете фонарика, прикрытого ладонью.

Он был очень молодой. Это было первое, что Лев увидел, когда лейтенант поднял голову. Двадцать, не больше. Тонкая шея в слишком широком вороте гимнастёрки. Под гимнастёркой — шерстяной шарф, синий, домашний, вязаный, с белой полосой; в августе, но ночи были холодные. Лицо худое, остроносое, с пушком над верхней губой, который он, видимо, считал усами.

— Капитан Аронов? — Лейтенант встал, ударившись головой о бревно, и не поморщился. — Лейтенант Рябов. Мне звонили. Садитесь, товарищ капитан, вот сюда, тут сухо.

Лев сел.

— Вы от Гуревича? — спросил Рябов. — Мне сказали — нужна фотография для газеты.

— Нужна.

— Какая?

Лев помолчал. Он думал об этом весь день, пока шёл по болоту, и не придумал, как сказать.

— Атака, — сказал он наконец. — Боец поднимается в атаку.

Рябов посмотрел на него. Потом на Фомина, который стоял у входа в гнездо и не уходил. Потом снова на Льва.

— Атаки не будет, товарищ капитан, — сказал он осторожно. — Пока не будет. У меня во взводе одиннадцать человек. Было тридцать два. В роте — сорок. Пополнения ждём к концу месяца. До пополнения приказ — держать рубеж.

— Я знаю.

— Тогда как же...

— Мне нужно, чтобы один человек поднялся над бруствером, — сказал Лев. — На секунду. Как будто в атаку. Я сниму. И он сядет обратно.

Стало тихо. Пулемётчик на дне гнезда всхрипнул и повернулся на другой бок.

Рябов долго молчал. Лев видел, как он думает: как у него двигается кадык, как он мнёт в пальцах край планшета. Ему было двадцать лет. Его учили в училище по ускоренной программе полгода, и там его не учили, что делать, когда к тебе в окоп приходит капитан из газеты и просит поднять человека над бруствером, чтобы его сфотографировать.

— У них снайпер, — сказал Рябов. — Вон там, на левом краю леса. Где сосна с обломанной верхушкой. Сейчас не видно, утром покажу. Он сидит там третью неделю. Мы его и миномётами, и из пулемёта. Он уходит, а потом опять. Позавчера Сычёва убил. А на той неделе — Гаврилова, это наш санинструктор был, хороший, пожилой. Голову поднял на секунду.

— Я знаю, — сказал Лев. — Мне сержант сказал.

— Но есть одно место. — Рябов заговорил быстрее, как будто, решившись, хотел поскорее проскочить. — На правом фланге, где печь. Там, где большая печь, с трубой. Она стоит прямо перед бруствером, метрах в пятнадцати. И закрывает от сосны. Мы проверяли. Там можно встать — от сосны не видно. Мёртвая зона. Там у нас и по нужде ходят.

— Покажете?

— Утром. — Рябов посмотрел на часы — большие, мужские, явно не по руке. — Только, товарищ капитан... быстро. Одну секунду. Я вас прошу. Вы снимете, и всё.

— Одну секунду, — сказал Лев.

— И кого? — Рябов помялся. — Мне вам приказать кого-то?

— Не надо приказывать. — Лев подумал. — Мне нужно хорошее лицо. Живое.

Рябов посмотрел на Фомина. Фомин посмотрел на Рябова. Что-то прошло между ними — короткое, без слов, как бывает у людей, которые долго сидят в одном окопе.

— Костин, — сказал Рябов.

— Костин, — сказал Фомин без выражения.

— Он сам к вам напросится, товарищ капитан, — сказал Рябов, и в первый раз за весь разговор улыбнулся, по-мальчишески, всем лицом. — Вы ему только дайте. Он к вам уже напросился, небось?

— Напросился, — сказал Лев.

* * *

Утром он увидел, что такое пятая рота.

Окоп при свете оказался ещё хуже, чем в темноте. Вода стояла по колено везде, кроме нескольких мест, где её отчерпали. Отчерпывали касками. Это было первое, что делали утром, — все, кто не спал: становились цепочкой и передавали друг другу каски с водой, и последний выплёскивал её через тыльный бруствер, в воронку. Вода уходила, но через час прибывала снова — сочилась из стен, из-под ног, из неба. Дождь опять начался ночью и шёл, не переставая, мелкий, бесконечный.

Портянки сушили на штыках. Штыки втыкали в стенку окопа, и на каждом висела портянка — серая, бурая, чёрная, — и от них поднимался пар, когда на минуту выглядывало солнце. Солнце выглядывало редко. Сапоги сушить было бесполезно. Их снимали только затем, чтобы вылить воду, и сразу надевали обратно, потому что босые ноги в воде немели через минуту, а в сапогах — через пять.

Ели раз в сутки. Кухня приходила ночью, по ходу сообщения, — двое бойцов с термосами за спиной, из батальона, — и приносила суп, такой жидкий, что сквозь него было видно дно котелка, и кашу, и хлеб, иногда сухари. Ели холодное. Огонь разводить было нельзя.

Но огонь всё-таки разводили. Тимофеев разводил.

Тимофеев был старый — то есть ему было сорок четыре, но во взводе, где самому старшему после него было тридцать, он считался стариком, и его звали «дедом». У него была седая щетина, крестьянские руки, огромные, как лопаты, и маленький, почти игрушечный котелок, в котором он варил чай. Варил на свечке — на огарке, который прятал в нише, вырытой в стене окопа и прикрытой сверху каской, чтобы свет не был виден. Вода закипала минут сорок. Тимофеев сидел над ней всё это время, не двигаясь, глядя на котелок, как глядят на икону. Потом бросал щепотку заварки — откуда он её брал, никто не знал — и делил на всех: по глотку. Кружка шла по кругу.

Лев снял его. Отдельно, для себя. Тимофеев над котелком, лицо подсвечено снизу огарком, руки сложены на коленях, а за ним — стена окопа, корни, вода. Выдержка — полсекунды, с упора. Тимофеев не шевелился. Он вообще редко шевелился.

Этот кадр пойдёт в сигарную коробку, подумал Лев. Его тоже никто никогда не напечатает.

Были ещё Жумабаев — казах, неразговорчивый, с плоским тёмным лицом и с глазами, которые всё время смотрели на поле, даже когда он спал, кажется, — и Вася Лузгин, маленький, вертлявый, московский, с Таганки, который знал тысячу частушек и пел их шёпотом, — и ещё человек шесть, которых Лев не запомнил по именам, потому что они почти всё время спали. Они спали, как спят только на войне: в любом положении, в любом месте, сидя, стоя, в воде, — мгновенно, глубоко, как будто их выключили.

Не спал только Костин.

* * *

Костин не спал вообще. Или спал, но как-то незаметно, урывками, как птица. Всё остальное время он говорил.

Говорил он со всеми и обо всём. С Тимофеевым — о том, какой чай лучше, грузинский или китайский (Костин не пробовал ни того, ни другого, но имел мнение). С Жумабаевым — о верблюдах (Жумабаев молчал, Костин спрашивал и сам отвечал). С Лузгиным — о Москве (Костин был в Москве один раз, в тридцать девятом, на Сельскохозяйственной выставке, с колхозной делегацией, и до сих пор не мог успокоиться). С Фоминым — ни о чём, потому что Фомин говорил «Костин» и Костин замолкал, но ненадолго.

А теперь — со Львом.

— Вы кино любите, товарищ капитан?

— Люблю.

— А какое?

— Разное.

— А я — «Волгу-Волгу». — Костин сидел рядом со Львом на ступеньке, поджав ноги, чтобы не в воде, и говорил, глядя на него снизу вверх. Лицо его было в веснушках так густо, что казалось смуглым. Пилотка — набекрень, на одном ухе, так, что непонятно было, как она держится. Глаза — светлые, почти прозрачные, рыжие ресницы. — Я её двенадцать раз смотрел. Нет, тринадцать. Тринадцатый раз уже в Калинин, в сороковом, когда на курсы ездил. Ну, не на курсы, а так — с механиком нашим, с Семёнычем, он меня брал. Это он кино по деревням возил, наш Семёныч. Передвижка. Знаете, что такое передвижка?

— Знаю.

— А как она работает, знаете?

— Примерно.

— А я — точно! — Костин аж подпрыгнул на ступеньке. — Я её всю знаю, до винтика. Семёныч мне показывал. Там лампа, и там конденсор, и там объектив, и там грейфер — это такой зубчик, он плёнку тянет, кадр за кадром, — и там обтюратор, он свет перекрывает, пока

кадр меняется. Двадцать четыре кадра в секунду. Нет, у передвижки — шестнадцать, она звуковая не была, а потом стала звуковая, тогда двадцать четыре. И она трещит. Знаете, как она трещит?

— Как?

Костин набрал воздуха и затрещал. Он трещал языком, губами, зубами, ровно и быстро, — тррр-тррр-тррр-тррр, — и это действительно было похоже на проектор, так похоже, что Лев засмеялся. Тимофеев у своего котелка покачал головой. Лузгин сказал: «Опять завёл свою шарманку».

— Это кино идёт, — объяснил Костин серьёзно, отдышавшись. — Это я «Волгу-Волгу» вам показываю. Вот сейчас там Стрелка поёт. Слышите?

— Слышу.

— Я после войны киномехаником буду, — сказал Костин. — Это решено. Семёныч старый уже, ему пятьдесят, он говорит — Санька, придёшь с войны, бери передвижку, я на печку. И я возьму. Буду по деревням ездить. По всему району. У нас в районе сорок две деревни, я считал. В каждую раз в месяц. Привезу кино, повешу простыню на клубе, или на церкви, если клуба нет, — и все придут. И старики, и дети, и девки. И я буду в будке сидеть и крутить, и все будут смотреть, а я буду на них смотреть. Это самое лучшее — на них смотреть. Как они смеются. Вы видели когда-нибудь, как в деревне кино смотрят?

— Не видел.

— Ох. — Костин зажмурился. — Это, товарищ капитан, лучше, чем само кино.

* * *

Он говорил весь день. Лев слушал.

Он узнал, что Костина зовут Александр Фёдорович, что дома его зовут Санька, а во взводе — Костя или Сашок, в зависимости от настроения Лузгина. Что он из Сосновки — это Калининская область, далеко, за Бежецком, туда немец не дошёл, «и не дойдёт». Что отец у него утонул на лесосплаве, когда Саньке было семь, и что мать с тех пор одна. Что мать зовут Пелагея Ивановна. Что она «строгая, но справедливая» и что она печёт пироги с калиной, которые лучше всего на свете. Что у матери на стене висит отцовская фотография, единственная, где отец с усами, и что Саня на него похож, «только без усов, усы у меня не растут, хоть ты что».

Он узнал про Нюру Белову. Нюра Белова жила в Сосновке через три дома, у неё была коса до пояса и голос, как у Любви Орловой, и Санька её любил с шестого класса. «Только она ещё не знает». — «А почему не скажешь?» — «Так я напишу. После войны. Приду и скажу. С медалью. Так-то, без медали, неловко». Лузгин на это фыркнул. Костин на Лузгина не обиделся. Он ни на кого не обижался.

Он узнал, что Костину девятнадцать лет и что на фронте он с апреля, и что за эти четыре месяца был в трёх атаках, и что в последней, неделю назад, из их взвода осталось одиннадцать человек. Про атаки Костин рассказывал так же, как про кино, — быстро, весело, захлёб, — и только по тому, что он ни разу не назвал ни одного имени, Лев понял, что он о них думает.

К вечеру Лев понял ещё одну вещь. Костин был хвастун. Не злой, не противный — весёлый хвастун, каким бывают в девятнадцать. Он хвастался всем: тем, что знает передвижку, тем, что был в Москве, тем, что у него самая лучшая в роте винтовка (он сам её почистил, «Фомин проверял — ни пылинки»), тем, что мать у него печёт лучшие пироги, тем, что Нюра Белова — самая красивая в районе. Он хвастался и сам над собой смеялся, и от этого его хвастовство никого не раздражало. Даже Фомина. Фомин, когда Костин начинал очередную историю про то, как он один раз взял в руки настоящий звуковой проектор в Калинин и чуть его не уронил, только вздыхал и отворачивался, и Лев видел, что он улыбается.

Вечером, когда стемнело и ракеты снова начали взлетать каждые пять минут, Фомин подсел ко Льву.

— Вы его выбрали, — сказал он. Не спросил.

— Лейтенант предложил.

— Лейтенант. — Фомин помолчал. Достал кисет, скрутил самокрутку, не закурил — просто держал в пальцах. — Он хороший парень, Костин. Пустой маленький. Но хороший.

— Я вижу.

— Он у меня четвёртый месяц. Я за него перед матерью отвечаю. — Фомин сказал это просто, без нажима, как говорят о погоде. — Я ей письмо писал, в мае. Она мне ответила. Написала: «Товарищ сержант Фомин, берегите там моего Саньку, он у меня один, он дурной». Так и написала — «дурной». — Фомин хмыкнул. — Я ей ответил: «Буду беречь». Вот, берегу.

Лев молчал.

— Вы его на секунду, — сказал Фомин. — Я слышал. Лейтенант говорил. За печью.

— За печью.

— Ну-ну, — сказал Фомин, сунул незакуренную самокрутку за ухо и ушёл в темноту.

* * *

На второй день, девятнадцатого, Костин попросил.

Он долго ходил вокруг да около. Лев видел это с самого утра: Костин вертелся рядом, заговаривал, замолкал, начинал снова, смотрел на вещмешок, в котором лежала «Лейка». Наконец, когда Лев сел перебирать кассеты — у него оставалось три заряженных и две пустых, — Костин сел рядом, подтянул колени к подбородку и сказал, глядя в сторону:

— Товарищ капитан. А вы бы не могли меня... ну. Для мамки.

— Что — для мамки?

— Ну... снять. — Он покраснел. Веснушки его от этого стали почти незаметны, всё лицо стало одного цвета. — Карточку. Одну. Чтобы ей послать. А то у неё нету. Я перед отправкой хотел сняться в Бежецке, а там фотограф закрылся, на войну ушёл. Так и не снялся. А она просит. В каждом письме просит: «Санька, пришли карточку». А где я ей тут возьму?

Лев посмотрел на него.

— Сниму, — сказал он.

— Правда?

— Правда. Только не сегодня. Завтра или послезавтра. И не здесь, в окопе темно. Найдём место. Отпечатаю в редакции и пришлю твоей матери. По почте. Адрес дашь.

— Дам! — Костин аж засиял. — Сосновка, Калининская область, Бежецкий район, Костиной Пелагее Ивановне. Я вам напишу. Вы только... — он замялся. — Вы только хорошо снимите. Чтобы я был... ну. Чтобы ей не стыдно было показать.

— Сниму хорошо.

— А можно... — Костин посмотрел на «Лейку», которую Лев держал в руках. — Можно поглядеть? В аппарат? Я только поглядеть. Я осторожно.

Лев помедлил. Он никому не давал «Лейку». Он взял её в декабре сорок первого под Клином, с убитого немецкого обер-лейтенанта, который лежал в снегу у разбитой штабной машины, и с тех пор не расставался с ней ни днём, ни ночью. Она была его единственной ценностью. Он знал её лучше, чем своё тело.

— Держи, — сказал он и надел ремешок Костину на шею. — Вот сюда смотри. В это окошко. Одним глазом.

Костин взял камеру обеими руками, как берут птенца, и поднёс к лицу. Зажмурил один глаз. Долго молчал.

— Ох ты, — сказал он шёпотом.

Он повёл камерой вдоль окопа. Медленно, как ведут проектор. Остановился на Тимофееве, который спал над пустым котелком. Потом на Жумабаеве. Потом на Фомине, который стоял у бруствера и смотрел в поле.

— Товарищ сержант, — сказал Костин, не отрываясь от видеоискателя. — А вы в аппарате как в кино.

— Аппарат не урони, сокровище, — сказал Фомин, не оборачиваясь.

— Не уроню. — Костин опустил камеру и посмотрел на Льва, и лицо у него было такое, какое, наверное, было у него в тридцать девятом, на выставке, у павильона с механизацией. — Товарищ капитан. А она ведь как кино, правда? Только кино — оно двадцать четыре кадра в секунду. А это — один.

— Один, — сказал Лев.

— Один кадр, — повторил Костин. — И всё. И его уже не переделаешь.

Лев взял у него камеру и надел обратно на себя. Он не ответил. Он не знал, что ответить.

* * *

Вечером Костин писал письмо.

Он писал его на коленях, на дощечке, химическим карандашом, который поминутно слюнявил, так что губы и язык у него сделались лиловыми. Свет давала коптилка — сплюснутая гильза с фитилём из шинельного сукна, — которую разрешили зажечь в блиндаже у лейтенанта, куда Фомин отправил писать всех, кто писал. Писали трое: Костин, Лузгин и Жумабаев. Жумабаев писал по-казахски, медленно, шевеля губами. Лузгин — быстро, размашисто, на половине тетрадного листа, и через пять минут уже сворачивал треугольник. Костин писал долго. Он писал, вычёркивал, снова писал и время от времени читал вслух.

— «Здравствуй, дорогая мама», — читал он. — «Пишу тебе с переднего края, у меня всё хорошо, жив, здоров, чего и тебе желаю». — Он поднял голову. — Это все так пишут. А дальше у меня своё. Слушайте. «Мама, к нам приехал корреспондент из газеты, самый настоящий, с аппаратом, из самой Москвы»...

— Он не из Москвы, — сказал Лузгин. — Он из армейской.

— Он до войны в Москве жил! Правда, товарищ капитан?

— Правда, — сказал Лев. Он сидел в углу блиндажа, на нарах, и делал вид, что дремлет.

— Ну вот. «...из самой Москвы, и он меня будет снимать для газеты, на всю армию, а может, и дальше. Он сказал, что у меня лицо хорошее»...

— Он так не говорил, — сказал Лузгин.

— Он лейтенанту сказал! «Мне нужно хорошее лицо». А лейтенант сказал — Костин. Значит, у меня хорошее лицо. Логика, Вася.

— Логика, — согласился Лузгин и засмеялся.

— «...и он мне карточку обещал для тебя, так что жди, скоро пришлю, будешь на стенку вешать рядом с батей. Мама, у нас тут кормят хорошо»...

— Ну вот это уже враньё, — сказал Лузгин.

— Это не враньё. Это чтобы она не волновалась. — Костин послунявил карандаш. — «...кормят хорошо, каждый день горячее, и чай. Мама, передай Нюре Беловой привет от меня. Просто привет. Больше ничего не передавай. Мама, а ты пироги с калиной пекла? Если пекла, напиши, с чем. Я по ним скучаю больше, чем по всему. Ну, ещё по кино»...

Фомин, который сидел у входа в блиндаж и курил, протянул руку.

— Дай-ка.

Костин отдал ему лист. Фомин поднёс его к коптилке и стал читать, шурясь. Потом взял у Костина карандаш и что-то исправил.

— «Карэспондент», — сказал он. — Через «о». Кор-рес-пон-дент. И «щас» не пиши, пиши «сейчас». Мать прочтёт, подумает — сын неграмотный.

— Она сама так пишет.

— Она пусть как хочет, а ты пиши как надо. — Фомин вернул лист. — И про кормёжку вычеркни. Она не дура, не поверит.

— Не вычеркну.

— Ну и не вычёркивай, — сказал Фомин, и все засмеялись, даже Жумабаев.

Лев смотрел на них из своего угла. Блиндаж был низкий, тесный, сырой; коптилка давала круг рыжего света, и в этом круге сидели четыре человека — один читал, один курил, двое писали. Над ними — бревна наката, чёрные, мокрые, с белыми нитями грибницы. Под ними — доски настила, и сквозь щели в досках поблёскивала вода. Кадр был хороший. Свет — плохой. На такой коптилке выдержка будет секунды две, а за две секунды кто-нибудь из них обязательно шевельнётся.

Он не стал снимать. Он подумал, что, может быть, завтра. Или послезавтра. Ещё будет время.

* * *

Двадцатого он встал до рассвета.

Фомин разбудил его, как договаривались, тронув за плечо. Лев взял «Лейку» и пошёл за ним — по окопу, по воде, к правому флангу. Было темно, но не так, как ночью: небо на востоке уже серело, и на сером проступали силуэты — деревья, печи, трубы.

Рябов был уже там, у большой печи.

Печь стояла, как и говорил лейтенант, метрах в пятнадцати перед бруствером, чуть левее. Большая, русская, беленая когда-то, а теперь закопчённая до черноты, с высокой трубой. От дома вокруг не осталось ничего, даже фундамента, а печь стояла — крепко, прямо, как будто её построили отдельно. Такие печи Лев видел подо Ржевом везде. Они переживали дома. Их не брали ни снаряды, ни огонь.

— Вон сосна, — сказал Рябов шёпотом и показал рукой влево, туда, где в сером рассвете чернел лес. — С обломанной верхушкой. Видите?

Лев видел. Сосна торчала над лесом, как палец, и верхушка у неё была сломана наискосок.

— Он там, — сказал Рябов. — А печь — между. Тут от него не видно. Мы проверяли, я вчера каску на палке поднимал. Не стрелял.

Лев встал на ступеньку у бруствера, осторожно, и посмотрел. Печь закрывала сосну целиком. Если встать прямо здесь, за печью, — сосны не видно, и, значит, от сосны не видно тебя.

Он спустился и стал ждать света.

Свет пришёл через полчаса. Он пришёл, как приходит всегда на рассвете, сначала незаметно, потом всё быстрее: сначала посветлело небо, потом верхушки деревьев за спиной, на нашей стороне, потом труба печи, потом сама печь. Солнце вставало сзади, из-за нашего леса, и било косо, слева, низко, — и всё, на что оно попадало, становилось рельефным, резким, с длинными тенями.

Лев смотрел, как этот свет ложится на бруствер. Если человек встанет здесь, у этого места, где бруствер чуть пониже, — солнце осветит его сбоку. Лицо будет наполовину в свету, наполовину в тени. Небо за ним будет светлое, но не белое — ещё розовое, ещё с облаками. Если снимать снизу, со дна окопа, против неба, человек встанет над всем миром. Если он поднимет руку...

Он остановил себя. Он понял, что уже видит кадр — весь, целиком, до последней тени, как будто он уже снят. Так бывало с ним, когда кадр был хороший.

— Ну что? — спросил Рябов.

— Хорошо, — сказал Лев. — Завтра. Здесь же. В это же время. Когда солнце будет вон там, на трубе.

— Завтра, — повторил Рябов. Он помолчал. — Товарищ капитан. Я вас ещё раз прошу. Одну секунду. Вы снимете — и он сразу вниз.

— Одну секунду, — сказал Лев.

* * *

Костина он нашёл у Тимофеевского котелка. Костин держал кружку обеими руками и дул на чай, хотя чай был едва тёплый.

— Саша, — сказал Лев. Он в первый раз назвал его по имени. — Завтра утром поможешь мне?

— Карточку? — Костин вскинул голову.

— И карточку тоже. Сначала карточку, потом ещё одну, для газеты. Надо будет встать над бруствером. На секунду. Как будто в атаку. Я сниму, и всё.

Костин смотрел на него. Потом на Фомина, который стоял рядом. Потом опять на Льва. И лицо у него медленно, начиная с глаз, расплывалось в улыбке — во всю ширину, со щербинкой.

— Для газеты? — переспросил он. — Меня? На всю армию?

— На всю армию.

— Ох ты, — сказал Костин. — Ох ты ж. Товарищ сержант, слышали?

— Слышал, — сказал Фомин.

— Я встану, — сказал Костин. — Конечно, встану. Я как надо встану, вы только скажите как. Я, может, гранату возьму? Для виду? Или нет — я винтовку. Свою. Она у меня самая чистая. Товарищ сержант, можно я винтовку возьму?

— Возьми, — сказал Фомин.

— Ох ты, — повторил Костин и вдруг засмеялся — просто так, ни над чем, от радости. Кружка у него в руках качнулась, и остатки чая выплеснулись в воду. — Мамке написать надо. Прямо сейчас. Нет, вчерашнее уже ушло. Новое напишу. Ох, она не поверит.

* * *

Ночью Лев не спал.

Он лежал на нарах в блиндаже у Рябова, — лейтенант уступил ему своё место, а сам ушёл к пулемёту, — и смотрел в потолок, в чёрные брёвна, в белые нити грибницы. Рядом храпел пулемётчик. Снаружи взлетали ракеты, и каждый раз в щели над дверью вспыхивал белый свет и гас.

Он думал о кадре. О свете, о точке, о выдержке. Солнце будет слева, низко. Выдержка — шестидесятая, диафрагма — восемь, если будет так же ясно, как сегодня. Если облака — пятьдесят шестая, нет, тридцатая, и тогда надо, чтобы Саша не двигался. Секунду, не больше. Он снимет — и сразу вниз.

Он думал о Гуревиче. О том, что сказал бы Гуревич, если бы видел сейчас этот блиндаж, и Сашу, и Фомина, и лейтенанта Рябова с его маминым шарфом. Он знал, что сказал бы Гуревич. «Правда — это то, что нужно фронту». Он почти слышал его голос, его одесское «Лёва», его прихлёбывание из консервной банки.

Потом он повернул голову и увидел Сашу.

Саша сидел у входа в блиндаж, у самой двери, где Фомин оставил коптилку, прикрученную до малого огонька, — сидел на корточках, сторбившись, с дощечкой на коленях, и писал. Писал быстро, не останавливаясь, не слюнявя карандаш, не читая вслух. Лицо у него было

сосредоточенное, серьёзное, совсем не такое, как днём. Он то и дело поднимал голову и смотрел в темноту перед собой — не на кого-то, просто в темноту, — и потом снова наклонялся к листу.

Нюре, подумал Лев. Нюре Беловой, которая ещё не знает. Решился всё-таки. Перед тем, как попасть в газету на всю армию.

Он хотел окликнуть его, сказать, чтобы ложился, что завтра рано. Но не окликнул. Ему не хотелось мешать.

Он отвернулся к стене и закрыл глаза. Когда он открыл их снова — через час? через два? — коптилка уже погасла, и в блиндаже было темно, и только в щели над дверью серело небо. Скоро рассвет.

Он лежал и слушал, как дышит рядом спящий Саша, — ровно, легко, по-детски, с лёгким присвистом через щербинку.

Глава 5. Интервью

Москва, март 1965

Во вторник ночью он сел на кухне писать.

Он не собирался. Он лёг в одиннадцать, как всегда, рядом с Адой, и лежал на спине, глядя в потолок, на котором от уличного фонаря лежал жёлтый косой прямоугольник с креплением рамы посередине. Лежал час. Потом встал, тихо, чтобы не разбудить, взял с Мишиного стола карандаш и тетрадку в клеточку — Мишину, по сопромату, исписанную до половины формулами, — и пошёл на кухню.

Он сел за стол, под абажур-тюльпан, и открыл тетрадку на чистой странице.

Он написал: «Это было на рассвете».

Почерк был ровный, аккуратный, редакционный — почерк человека, который сорок лет подписывает кассеты и конверты. Он посмотрел на эти слова. Потом написал дальше. «Мы находились в боевых порядках роты. Рядовой Костин поднялся первым. Я успел сделать один снимок. Через минуту он был убит».

Пять фраз. Пять строчек в клеточку.

Он смотрел на них, как смотрят на чужой текст, принесённый на редактуру. Хороший текст. Ни одного лишнего слова. Ни одной ошибки. Ни одного факта, который можно опровергнуть. Он мог бы поставить под ним свою подпись — он и ставил, в сорок втором, в политотделе.

Он перевернул страницу. Взял карандаш. И попробовал написать — как было.

«Он сидел на дне окопа и курил».

Он остановился. Посмотрел на эту строчку. Она была правдой. Она была первой правдой о том утре, которую он написал словами — за двадцать три года. Он смотрел на неё и чувствовал, как у него немеют пальцы, держащие карандаш, — как немели тогда, в окопной воде, до колена.

Дальше он не смог. Он сидел над тетрадкой полчаса, и карандаш не двигался. Он знал, что дальше. Он знал каждое слово. Частушка, смех, «мамке привет», печь, ступенька, «Семёныч, крути». Он знал — а рука не шла. Как будто между тем, что он знал, и тем, что могла написать рука, стояло стекло. Толстое, мутное. Как на старом увеличителе, который давно не протирали.

В половине третьего он вырвал оба листа — и тот, где пять фраз, и тот, где одна строчка. Сложил вдвое. Порвал. Сложил обрывки — порвал ещё. И ещё. Пока не получились клочки размером с почтовую марку. С кадр на контролке.

Выбросил в мусорное ведро под раковиной. Сверху положил картофельные очистки.

Утром Ада выносила мусор. Она всегда выносила по средам, перед работой. Он видел из прихожей, как она нагнулась над ведром, как остановилась на секунду — над очистками, над белыми клочками бумаги в клеточку, торчавшими из-под них, — и как выпрямилась и понесла ведро к двери, ничего не сказав.

Миша вечером искал по всей квартире тетрадку по сопромату. Нашёл. Удивился, что не хватает двух листов. Решил, что сам вырвал на черновики, и забыл.

* * *

В среду он пришёл в павильон к восьми, на час раньше обычного, и первым делом переставил стулья.

Стульев в павильоне было три: венский, с гнутой спинкой, на котором обычно сидела Фаина Григорьевна, когда ждала, пока он отснимет очередное блюдо; табуретка художника Сёмушкина, возвращённая наконец на место; и старое кожаное кресло с продавленным сиде-

нием, которое неизвестно когда и откуда попало в павильон и которое никто не решался выбросить. Лев поставил венский стул у стола для натюрмортов, напротив северного окна, так, чтобы свет падал на сидящего прямо и ровно. Кресло он поставил спиной к окну, у стены.

Потом сел в кресло и посмотрел на венский стул.

Это была правильная расстановка. Он знал это так же, как знал, куда ставить блюдо с заливным. Тот, кто сидит на венском стуле, будет освещён целиком — каждая мысль, каждое движение лица будут видны, как на хорошем портрете, снятом при рассеянном свете. Тот, кто сидит в кресле, будет силуэтом: лицо в тени, контур против окна, ни выражения, ни глаз. Так снимают людей, которых не хотят показывать. Так сажают на допросе — следовательно спиной к лампе.

Он подумал об этом и усмехнулся. Потом встал и переставил кресло на полметра в сторону, чтобы было не так очевидно.

Фаина Григорьевна пришла в девять и сразу стала печь пирожки. Для «Праздничного стола» требовалось две дюжины — с капустой, с яйцом и луком, с повидлом, — и Фаина решила печь их прямо в павильоне, на электрической плитке, чтобы снимать горячими, с паром.

— С паром не надо, — сказал Лев. — Пар я вам потом из чайника пушу.

— Из чайника — это обман.

— Фаина Григорьевна, — сказал Лев, — вся наша работа — обман. Мы обманываем хозяек, что у них получится так же. Не получится. Никогда. У них не будет северного окна, двух софитов и меня. Так что давайте хотя бы пар сделаем честный — из чайника. Он, по крайней мере, настоящий пар.

Фаина не поняла, но спорить не стала. К одиннадцати по павильону поплыл запах жареного теста, лука, горячего масла, и Лев, снимая первую партию — пирожки с капустой на деревянной доске, рядом крынка с молоком, полотенце с петухами, — поймал себя на том, что этот запах его успокаивает. Пахло домом. Пахло чем-то довоенным, детским, Сретенкой, бабушкой, которая пекла по субботам. Пахло так, как не пахнет война.

Он отснял пирожки с капустой, с яйцом, с повидлом. Сделал перерыв на обед, которого не ел. Отснял ещё раз, с другим светом. Посмотрел на часы. Было без пяти два.

* * *

Она пришла ровно в два — он слышал, как на Полянке, за двором, пробили часы на какой-то башне, и тут же постучали в дверь.

— Войдите, — сказал Лев.

Дверь открылась, и он увидел её сначала так, как видел всё, — кадром. Тёмный прямоугольник двери. В нём — фигура против дневного света со двора: пальто, перехваченное поясом, шапочка, сдвинутая назад, сумка через плечо. Контур резкий, лица не видно — контровой свет. Потом она шагнула внутрь, из двери в павильон, и северный свет из окна упал на неё спереди, и лицо проявилось — сразу, всё, как отпечаток, вынутый из проявителя слишком рано.

Она была не такая, какой он её представлял по голосу. По голосу он ждал кого-то резкого, угловатого, остроногого — комсомольскую активистку с горящими глазами, какие приходили к нему иногда из школьных музеев. А она была спокойная. Это было первое, что он увидел: спокойное лицо, широкоскулое, с прямыми бровями и тёмными глазами, которые не горели, а смотрели. Внимательно, неторопливо. Как смотрит хороший фотограф перед тем, как поднять камеру. Волосы — тёмные, мокрые от снега, выбившиеся из-под шапочки. Двадцать шесть лет. На вид — меньше.

— Лев Борисович? — сказала она. — Я Марина. Здравствуйте.

— Здравствуйте, Марина. Проходите. Раздевайтесь. Вон вешалка. Фаина Григорьевна, это ко мне из газеты. Угостите девушку пирожком.

— Не надо, спасибо, — сказала Марина.

— Надо. Они всё равно уже отработали своё, их снимать больше не будут. Если их никто не съест, это будет трагедия. Фаина Григорьевна плачет, когда её пирожки не едят. Вы же не хотите, чтобы она плакала?

— Не хочу, — сказала Марина, и в первый раз чуть улыбнулась. Улыбка была короткая, вежливая. Глаза в ней не участвовали.

Она повесила пальто на вешалку, сняла шапочку, пригладила волосы. Огляделась — быстро, профессионально, как оглядываются журналисты в новом месте: крюки под потолком, белёные стены, северные окна, стол с пирожками, штатив, камера на штативе, софиты. Её взгляд задержался на камере, большой, деревянной, с мехами.

— Это вы ей снимаете?

— Ей. «ФК», павильонная. Довоенная. Она старше вас.

— А почему не маленькой? Ну, плёночной?

— Потому что пирожкам не нужна маленькая. Пирожки, в отличие от людей, никуда не торопятся. — Лев показал на венский стул. — Садитесь.

Она села. Северный свет лёг на неё ровно, как он и рассчитывал. Он сел в кресло, напротив.

Фаина Григорьевна принесла на тарелке два пирожка — с капустой и с повидлом — и чай в стакане с подстаканником. Поставила на край стола рядом с Мариной и, посмотрев сначала на неё, потом на Льва, вышла, громко объявив, что идёт в бухгалтерию.

— Ну вот, — сказал Лев. — Мы одни. Час пошёл.

* * *

Марина достала из сумки блокнот — толстый, в клеёночной обложке, — и карандаш. Карандаш был новый, остро заточенный. Она положила блокнот на колено и не стала сразу записывать. Сначала она посмотрела на Льва.

— Расскажите, как это было, — сказала она.

— С самого начала?

— С самого начала.

— С самого начала — это с сотворения мира, — сказал Лев. — Я столько не помню. Давайте я начну с августа сорок второго года. Это ближе.

— Давайте.

И он начал.

Он начал с того, что всегда говорил, — с пяти фраз. Это было на рассвете. Мы находились в боевых порядках роты. Рядовой Костин поднялся первым. Я успел сделать один снимок. Через минуту он был убит.

Он сказал их ровно, спокойно, как говорил двадцать лет, и, сказав, остановился. Обычно этого хватало. Обычно люди, которые приходили к нему с вопросами, — школьники, учителя, корреспонденты районных газет, — записывали эти пять фраз, кивали, говорили «спасибо, это так важно», и уходили. Им больше ничего не было нужно. Им нужен был подвиг, а подвиг помещался в пять фраз.

Марина не записала ни одной.

Она сидела, держа карандаш над блокнотом, и смотрела на него. Ждала.

— Это всё? — спросила она наконец.

— А что вы хотели?

— Я хотела, чтобы вы рассказали, как это было. А вы прочитали мне подпись.

Лев помолчал. Потом засмеялся — коротко, искренне. Ему понравилось. Он не ожидал, что ему понравится.

— Ладно, — сказал он. — Подробно.

И начал снова.

* * *

Он рассказывал полчаса.

Он рассказал, как добирался до редакции под Ржевом по грязи, — и это была правда. Как Гуревич послал его в пятую роту, в Бураково, — и это была правда. Как он пришёл в окоп, по колено в воде, и сержант Фомин сказал ему: «Голову не поднимайте», — и это тоже была правда, и он произнёс эти слова голосом Фомина, с его интонацией, и Марина на этих словах что-то быстро записала.

Он рассказал про лейтенанта Рябова с его шарфом, про Тимофеева с котелком, про Лузгина с частушками. Правда, правда, правда. Он рассказывал хорошо, живо, с юмором — он умел рассказывать, он двадцать лет рассказывал за столом анекдоты, — и видел, как Марина слушает: внимательно, иногда улыбаясь, иногда записывая.

Потом он дошёл до двадцать первого августа.

— Атака была назначена на рассвет, — сказал он.

И услышал, как хорошо это звучит. Ровно, просто, без нажима. Голосом человека, который рассказывает, как было.

— Нам передали приказ ночью. Командир роты пришёл в окоп, сказал — на рассвете, по сигналу. Сигнал — красная ракета. Я выбрал место на правом фланге, у большой печи — там, знаете, от деревни одни печи остались. Встал так, чтобы видеть бруствер снизу, против неба. Солнце вставало сзади нас, из-за леса. Свет был очень хороший, низкий. — Он помолчал. — Это я помню лучше всего. Свет.

Он рассказывал, и рассказ шёл сам, как плёнка в проекторе, — кадр за кадром, ровно, быстро. Он рассказал про красную ракету. Про свисток лейтенанта. Про то, как с немецкой стороны ударили миномёты, и вокруг поднялся дым, и в дыму он ничего не видел, кроме бруствера над собой. Про то, как первым — первым, раньше всех — над бруствером поднялся Костин. Встал в рост, повернулся к своим, поднял руку и закричал что-то — может быть, «за Родину», может быть, «вперёд», Лев не слышал, было слишком шумно. Про то, как он, Лев, успел нажать на спуск — один раз, один-единственный, — и Костин побежал вперёд, и за ним полезли другие, и Лев полез тоже, и потерял его из виду в дыму. А когда дым разошёлся — минуту спустя, не больше, — Костин лежал в двадцати шагах от окопа, лицом вниз. Снайпер.

Он рассказывал и слушал себя со стороны, как слушают чужую речь по радио. И думал: как хорошо. Как гладко. Как убедительно. Ни одной запинки. Ни одной лишней детали. Свисток, ракета, дым, «ура», — всё на месте, как на хорошем газетном снимке, где каждая фигура стоит там, где ей положено. Он двадцать лет не рассказывал эту историю подробно — только пять фраз, — и вот, оказывается, она жила в нём всё это время, целиком, готовая, отшлифованная, ждала своего часа. Он не знал, когда успел её придумать. Может быть, в сорок втором, в политотделе, когда давал показания для наградного листа. Может быть, позже, по ночам. Может быть, она придумалась сама — из подписи Гуревича, из плаката, из тысяч чужих рассказов про атаки, которые он слышал за войну.

Это был хороший рассказ. Это был, пожалуй, лучший рассказ, который он когда-либо рассказывал. Он мог бы напечатать его в любой газете, и его бы напечатали, и, может быть, даже дали бы премию.

Он закончил и замолчал. Посмотрел на Марину.

Марина сидела неподвижно. Карандаш лежал на блокноте. Она не записала ничего — ни ракеты, ни свистка, ни дыма. Он видел страницу, раскрытую у неё на колене: на ней были записаны Фомин, Рябов, Тимофеев с котелком, Лузгин с частушками. Шарф. Печь. Свет. «Свет — помню лучше всего» — это она записала, это он видел, — подчеркнула даже. А дальше — пустое место.

Она смотрела на его руки.

Он посмотрел тоже. Руки лежали на подлокотниках кресла — спокойно, расслабленно. Только пальцы правой руки, указательный и средний, медленно тёрли друг о друга — туда-сюда, туда-сюда, — как трут, когда скатывают в пальцах крошку хлеба. Или когда держат в пальцах воображаемую плёнку за край.

Он остановил пальцы.

* * *

— Спасибо, — сказала Марина. — Очень подробно. У меня несколько вопросов, можно?

— Можно. У нас ещё двадцать минут.

— Сколько кадров вы сделали в то утро?

— Один.

— Только один?

— Только один. Я же говорю — успел нажать один раз. Потом всё побежало.

Она кивнула. Не записала.

— А до атаки вы его снимали? Костина? Ну, в предыдущие дни. Вы же жили во взводе несколько дней.

— Нет.

— Ни разу?

— Плёнки было мало, Марина. Её выдавали по счёту. Каждый кадр — на отчёт. Я не мог тратить плёнку на портреты.

— А он не просил?

Лев посмотрел на неё. Она сидела в ровном северном свете, и лицо её было открыто, как он и рассчитывал, — каждая мысль, каждое движение. И он видел, что в этом лице нет ничего, кроме вежливого внимания. Ни намёка. Ни нажима. Просто вопрос.

— О чём?

— Сфотографировать его. Солдаты же часто просили, я читала. Карточку для дома. Для матери.

Он помолчал. На долю секунды — может быть, на шестидесятую.

— Просили многие, — сказал он. — Всем не снимешь.

— А он?

— Не помню. Может быть. Он был... разговорчивый.

— Какой?

— Разговорчивый. — Он ухватился за это слово, как за поручень. — Болтал без умолку. Про кино. Про то, что будет киномехаником. Всё время что-то рассказывал.

Это она записала. Быстро, несколько слов. Подняла голову.

— А курил?

— Курили все.

— А он — курил? Вы помните, как он курил?

— Самокрутку, — сказал Лев. — Махорку. Как все.

Он сказал это и услышал, что сказал. Самокрутка. Тридцать первый кадр. Саша сидит на дне окопа и щурится от дыма.

Марина записала и это. Её лицо не изменилось.

— Кто был рядом с вами в момент съёмки?

— Рота. Сорок человек.

— А непосредственно рядом? В окопе, у печи?

— Не помню. Сержант Фомин, кажется. Лейтенант был на левом фланге, у пулемёта. — Он чувствовал, что говорит лишнее, и не мог остановиться. Это было как с плёнкой, которую начал засвечивать: уже засветил, и остановиться нельзя, всё равно пропало. — Там всё было очень быстро. Минута — меньше минуты.

— А где сейчас сержант Фомин? Вы не знаете?

— Понятия не имею. Мы не виделись с сорок второго.

— А лейтенант Рябов?

— Погиб. В сентябре, кажется. Я слышал.

Она кивнула. Записала. Помолчала.

— Лев Борисович, а вы писали его матери? Пелагее Ивановне?

— Нет.

— Почему?

— Потому что ей писал политотдел, — сказал Лев. — Потому что ей вручали орден. Потому что её сын был на плакате по всей стране, и ей писали тысячи людей. Зачем ей ещё письмо от фотографа?

Это была правда. Это была самая чистая правда из всего, что он сказал за этот час, — и в то же время самая большая ложь, и он почувствовал это так ясно, как чувствуют вкус крови во рту, когда прикусишь щёку.

— Понятно, — сказала Марина.

Она закрыла блокнот.

* * *

Час кончился без пяти три. Марина посмотрела на часы — маленькие, на тонком ремешке, — и встала.

— Спасибо вам, Лев Борисович. Вы очень хорошо рассказываете.

— Двадцать лет тренировки.

— Да, — сказала она. — Заметно. Как по написанному.

Она не улыбнулась, когда это говорила. Она сказала это просто, как констатируют факт, — и Лев, который уже поднялся из кресла, чтобы проводить её к двери, остановился на полдороге.

Она взяла с вешалки пальто, надела, застегнулась. Надела шапочку. Перекинула через плечо сумку. Сумка была тяжёлая, кожаная, с медной застёжкой, и Лев, глядя на неё, вдруг подумал — без всякого повода, просто так, — что в такой сумке удобно носить фотографии. Большой формат, восемнадцать на двадцать четыре, проложенные газетой. Не помнутся.

Он отогнал эту мысль.

Марина взяла с тарелки пирожок с повидлом — так и не тронутый — и завернула в бумажную салфетку.

— Можно? Я маме отнесу. Она пирожки любит.

— Берите все.

— Одного хватит. — Она положила пирожок в карман пальто и пошла к двери. Взялась за ручку. Остановилась. Обернулась.

Она стояла в дверном проёме — опять против света со двора, опять силуэтом, как тогда, когда входила. Лица не было видно. Только контур. Только голос.

— Лев Борисович, — сказала она. — Последний вопрос. Можно?

— Можно.

— Что было на пятом кадре?

Он не понял. В первую секунду он действительно не понял, о чём она, — так, как не понимаешь слов на чужом языке, которые слышишь впервые. Потом понял.

Пятый кадр. Тридцать пятый на плёнке. Пустой бруствер.

Он не помнил, как ответил. Потом, вечером, он пытался вспомнить и не мог. Кажется, он сказал: «Каком пятом?» Или: «Не понимаю вас». Или просто: «Не помню». Наверное, «не помню». Это было ближе всего к правде.

— Не помню, — сказал он.

— А я видела, — сказала Марина.

И ушла. Дверь закрылась за ней мягко, без стука, — она придержала её рукой, — и в павильоне стало тихо. Тише, чем было до её прихода. Где-то за стеной, в соседнем дворе, кто-то колот лёд ломом — равномерно, глухо, как будто бил в подушку.

* * *

Фаина Григорьевна вернулась из бухгалтерии через полчаса и нашла его сидящим в кресле. В том же кресле, спиной к окну. Он сидел, положив руки на подлокотники, и смотрел на венский стул — пустой, освещённый ровным северным светом, с тарелкой на краю стола рядом, на которой лежал один пирожок с капустой.

— Ушла ваша корреспондентка? — спросила Фаина.

— Ушла.

— Ну и как? Хорошо поговорили?

— Очень, — сказал Лев. — Очень хорошо.

— А пирожок не съела.

— Один взяла. Для мамы. С повидлом.

— С повидлом самые лучшие, — сказала Фаина Григорьевна удовлетворённо и стала убирать со стола. — Вы бы поели, Лев Борисович. Вы с утра ничего не ели. Я видела.

— Поем.

Он не двинулся. Фаина Григорьевна посмотрела на него внимательнее — она была простая женщина, деревенская, из-под Рязани, и она умела смотреть на людей так, как смотрят на скотину, когда та заболела: без слов, сразу, всем телом.

— Вы чего, Лев Борисович? — спросила она тихо. — Обидела вас, что ль?

— Нет, — сказал он. — Нет, Фаина Григорьевна. Она меня не обидела. Она мне... — он поискал слово, — напомнила.

— Про войну?

— Про пирожки, — сказал Лев и встал. — Про то, что их надо снимать горячими. А мы снимали холодными. И пар из чайника. Вы были правы, Фаина Григорьевна. Это обман.

— Да ну вас, — сказала Фаина и махнула полотенцем. — Нормальные пирожки. Хорошие. Все так снимают.

— Все, — согласился Лев. — Все так снимают.

Он подошёл к окну и посмотрел во двор. Во дворе было пусто. Снег на брусчатке подтаял, и в лужах отражалось небо — серое, ровное, мартовское, без единого облака, без единой тени. Свет был мягкий, рассеянный, очень хороший. Самый лучший свет для портрета. Такой свет ничего не прячет.

Он стоял и смотрел на этот свет, и думал о том, что она видела пятый кадр. Значит, видела и шестой. И первый, и второй, и третий. Значит, нашла в архиве конверт со штампом полевой почты. Значит, держала в руках полоску плёнки, которую он, Лев Аронов, капитан, в ночь на двадцать второе августа сорок второго года, в три часа ночи, в землянке, при красном

фонаре, отрезал ножницами — шесть кадров, как сказал Гуревич, — и отдал, и не вспоминал больше никогда. Почти никогда. Только каждую ночь.

Значит, она видела, как Саша смеётся.

Он понял, что ему от этого не страшно. Ему было страшно двадцать три года — что кто-нибудь найдёт, кто-нибудь увидит, кто-нибудь спросит. А теперь кто-то нашёл, и увидел, и спросил. И страха не было. Было что-то другое, чему он не знал названия, — похожее на то, что чувствуешь, когда в лаборатории, после многих часов в темноте, наконец включаешь белый свет и щуришься от него, и глазам больно, и всё вокруг выглядит не так, как ты помнил, — плоским, бедным, обыкновенным.

— Фаина Григорьевна, — сказал он, не оборачиваясь. — Давайте ещё раз пирожки. С самого начала. Горячие.

— Опять печь?

— Опять печь.

Фаина вздохнула, пошла к плитке и загремела сковородой.

Лев стоял у окна. Он думал, что нужно позвонить домой и сказать Аде, что задержится. Он думал, что нужно позвонить в «Знамя юности» и попросить к телефону корреспондента Ильину. Он думал, что не сделает ни того, ни другого.

Пирожки он отснял к семи вечера, горячими, с настоящим паром. Пар на снимке вышел мутным, бесформенным, некрасивым, и Зинаида Львовна на следующий день забраковала все кадры до одного и велела переснять — с чайником.

Глава 6. Секунда

Подо Ржевом, 21 августа 1942

Его разбудила тишина.

Ракеты перестали. Он лежал и не мог понять, что не так, а потом понял: за дверью блиндажа больше не вспыхивало. Небо в щели было серое, ровное. Ночь кончилась. Немцы тоже спали.

Он сел. Нашупал рядом вещмешок. «Лейка» была на месте, в плащ-палатке. Три заряженных кассеты в жестянках. В камере — плёнка номер четырнадцать, тридцать кадров уже отснято: Тимофеев с котелком, Жумабаев, Лузгин, бойцы у бруствера, Рябов в своём шарфе. Шесть кадров оставалось.

Шесть хватит, подумал он. На карточку и на газету. С запасом.

Саши в блиндаже не было.

Лев вышел. Окоп был серый, мокрый, тихий. Дождь кончился ночью, и вода на дне стояла неподвижно, как в пруду, и в ней отражалось небо — светлеющее, без облаков. Будет ясно. Будет хороший свет.

Сапа сидел на корточках у воды и умывался.

О

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.